

Александр Степанович Грин

Загадочные истории



Александр Грин
Загадочные истории

«Public Domain»

Грин А. С.

Загадочные истории / А. С. Грин — «Public Domain»,

«– Завтра приступ! – сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом – капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся. – Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник! Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему. – Жму вашу руку, Егер, – вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс...»

Содержание

Эпизод при взятии форта «Циклоп»	5
Происшествие в квартире г-жи Сериз	9
Рассказ Бирка	13
Путь	22
Мертвые за живых	26
Всадник без головы	29
История Таурена	33
Загадка предвиденной смерти	37
Лунный свет	41
Зурбаганский стрелок	48
Золотой пруд	67
Новый цирк	70
Система мнемоники Атлея	74
Наследство Пик-Мика	77
Имение Хонса	89
Лужа бородатой свиньи	93

Александр Грин

Загадочные истории

Эпизод при взятии форта «Циклоп»

I

– Завтра приступ! – сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом – капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся. – Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник!

Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему.

– Жму вашу руку, Егер, – вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс.

– По-моему – рано; осада еще не выдержана, – ровно повышая голос, заявил Гельвий.

– Значит, я буду завтра убит, – сказал Геслер и встал.

– Почему – завтра? – спросил Егер. – Не верьте предчувствиям. Сядьте! Я тоже поставлю несколько золотых. Я думаю, господа, что перед опасностью каждый хоронит себя мысленно.

– Нет, убьют, – повторил Геслер. – Я ведь не жалуясь, я просто знаю это.

– Пустяки! – Егер взял брошенные карты, стасовал колоду и стал сдавать, говоря: – Мне кажется, что даже и это, то есть смерть или жизнь на войне, в воле человека. Стоит лишь сильно захотеть, например, жить – и вас ничто не коснется. И наоборот.

– Я фаталист, я воин, – возразил Крисс, – мне философия не нужна.

– Однако сделаем опыт, опыт в области случайностей, – сказал Егер. – Я, например, очень хочу проиграть сегодня все деньги, а завтра быть убитым. Уверю вас, что будет по-моему.

– Это, пожалуй, легче, чем наоборот, – заметил Гельвий, и все засмеялись.

– Кто знает... но довольно шутить! За игру, братцы!

В молчании продолжалась игра. Егер убил все ставки.

– Еще раз! – насупившись, сказал он.

Золото появилось на столе в двойном, против прежнего, количестве, и снова Егер убил все ставки.

– Ах! – вскричал, горячась, Крисс. – Все это идет по вольной оценке. – Он бросил на стол портсигар и часы. – Попробуйте.

Богатый Гельвий утроил ставку, а Геслер учетверил ее. Егер, странно улыбаясь, открыл очки. Ему повезло и на этот раз.

– Теперь проигратся трудно, – с недоумением сказал он. – Но я не ожидал этого. Вы знаете, завтра не легкий день, мне нужно отдохнуть. Я проверял посты и устал. Спокойной ночи!

Он молча собрал деньги и вышел.

– Егер нервен, как никогда, – сказал Гельвий.

– Почему?

– Почему, Крисс? На войне много причин для этого. – Геслер задумался. – Сыграем еще?!

– Есть.

И карты, мягко вылетая из рук Геслера, покрыли стол.

II

Егер не пошел в палатку, а, покачав головой и тихонько улыбаясь мраку, перешел линию оцепления. Часовой окликнул его тем строгим, беспощадным голосом военных людей, от которого веет смертью и приказанием. Егер, сказав пароль, удалился к опушке леса. Пред выросшими из мрака, непоколебимыми, как литые из железа, деревьями, ему захотелось обернуться, и он, с тоской в душе, посмотрел назад, на черно-темные облака, тучи, под которыми лежал форт «Циклоп». Егер ждал последней, ужасной радости с той стороны, где громоздились стены и зеленые валы неприятеля. Он вспомнил о неожиданном выигрыше, совершенно ненужном, словно издевающимся над непоколебимым решением капитана. Егер, вынув горсть золота, бросил его в кусты, та же участь постигла все остальные деньги, часы и портсигар Крисса. Сделав это, капитан постоял еще несколько времени, прислушиваясь к тьме, как будто ожидал услышать тихий ропот монет, привыкших греться в карманах. Молчание спящей земли вызвало слезы на глаза Егера, он не стыдился и не вытирал их, и они, свободно, не видимые никем, текли по его лицу. Егер думал о завтрашнем приступе и своей добровольной смерти. Если бы он мог – он с наслаждением подтолкнул бы солнце к востоку, нетерпеливо хотелось ему покончить все счеты с жизнью. Еще вчера обдумывал он, тоскуя в бессоннице, не пристрелить ли себя, но не сделал этого из гордости. Его положение в эти дни, после письма, было для него более ужасным, чем смерть. Егер, хоть было совсем темно, вынул из кармана письмо и поцеловал смятую бумагу, короткое, глупое письмо женщины, делающей решительный шаг.

«Прощай навсегда, Эльза», – повторил он единственную строку этого письма. Мучительным, волнующим обаянием запрещенной отныне любви повеяло на него от письма, гневно и нежно скомканного горячей рукой. Он не знал за собой никакой вины, но знал женщин. Место его, без сомнения, занял в сердце Эльзы покладистый, услужливый и опытный Магуи, относительно которого он недаром всегда был настороже. Самолюбие мешало ему просить объяснений. Он слишком уважал себя и ее. Есть люди, не способные ждать и надеяться; Егер был из числа их; он не хотел жить.

Медленно вернулся он к себе в палатку, бросился на постель и ясно, в темноте, увидел как бы остановившуюся в воздухе пулю, ту самую, которую призывал всем сердцем. Неясный свет, напоминающий фосфорическое свечение, окружал ее. Это была обыкновенная, коническая пуля штуцеров Консидье, – вооружение неприятеля. Ее матовая оболочка была чуть-чуть сорвана в одном месте, ближе к концу, и Егер отчетливо, как печатную букву, различал темный свинец; пятно это, величиной в перечное зерно, убедительно, одноглазо смотрело на капитана. Прошла минута, галлюцинация потускнела и исчезла, и Егер уснул.

III

Белый туман еще струился над землей, а солнце пряталось в далеких холмах, когда полк, построенный в штурмовые колонны, под крик безумных рожков и гром барабанов, бросился к форту. «Циклоп», построенный ромбом, блестел веселыми, беглыми иллюминационными огоньками; то были выстрелы врассыпную, от них круто прыгали вперед белые, пухлые дымки, хлеща воздух сотнями бичей, а из амбразур, шушукая, вслед за тяжелыми ударами пушек, неслись гранаты. Егер бежал впереди, плечо к плечу с солдатами и каждая услышанная пуля наполняла его холодным сопротивлением и упрямством. Он знал, что той пули, которая пригрезилась ночью, услышать нельзя, потому что она не пролетит мимо. Солдат, опередивший его на несколько шагов, вдруг остановился, покачал головой и упал. Егер, продолжая бежать, осмотрелся: везде, как бы спотыкаясь о невидимое препятствие, падали, роняя оружие, люди, а другие, перескакивая через них, продолжали свой головокружительный бег.

«Скоро ли моя очередь?» – с недоумением подумал Егер, и тотчас, вспахав землю, граната разорвалась перед ним, плюнув кругом землей, осколками и гнилым дымом. Горячий, воздушный толчок остановил Егера на одно мгновение.

– Есть! – радостно вскричал он, но, встряхнувшись, здоровый и злой, побежал дальше.

Поле, по которому бежали роты генерала Фильбанка, дробно пылилось, как пылится, под крупным дождем, сухая грунтовая дорога. Это ударились пули.

«Как много их, – рассеянно думал Егер, подбегая к линии укреплений. – Дай мне одну, господи!» – Нетерпеливо полез он первый по скату земляного вала, откуда, прямо в лицо, брызгал пороховой дым. За капитаном, скользя коленями по гладкому дерну, ползли солдаты. На гребне вала Егер остановился; его толкали, сбивали с ног, и уже началась тесная, как в субботней бане, медленная, смертельная возня. Гипноз битвы овладел Егером. Как в бреду, видел он красные мундиры своих и голубые – неприятеля: одни из них, согнувшись, словно под непосильной тяжестью, закрывали простреленное лицо руками, другие, расталкивая локтями раненых, лезли вперед, нанося удары и падая от них сами; третьи, в оцепенении, не могли двинуться с места и стояли, как Егер, опустив руки. Острие штыка протянулось к Егеру, он молча посмотрел на него, и лицо стало у него таким же измученным и счастливым, как вчера вечером, когда он пришел к товарищам сообщить о приступе. Но о штык звякнул другой штык; первый штык скрылся, а под ноги Егеру сунулся затылком голубой мундир.

Капитан встрепнулся. «Нет, госпожа Смерть! – сказал он. – Вы не уйдете». Он бросился дальше, ко рву и стенам форта, где уже раскачивались, отталкиваемые сверху, штурмовые лестницы. Его торопили, ругали, и он торопил всех, ругался и лез, срываясь, по узким перекладам лестниц. Он бросался в самые отчаянные места, но его не трогали. Многие падали рядом с ним; иногда, отчаявшись в том, чего искал и на что надеялся, он вырывался вперед, совсем теряясь для своих в голубой толпе, но скоро опять становилось кругом свободно, и снова бой завивал свой хриплый клубок впереди, оттесняя Егера. Наконец, улыбнувшись, он махнул рукой и перестал заботиться о себе.

IV

Дней через шесть после взятия форта в палатку Егера зашел генерал Фильбанк. Капитан сидел за столом и писал обычный дневной рапорт.

– Позвольте мне лично передать вам письмо, – сказал Фильбанк, – после того, что вы показали при штурме «Циклопа», мне приятно лишний раз увидиться с вами.

– Благодарю, генерал, – возразил Егер, – но я был не более, как... – Взгляд его упал на почерк адреса, он, молча, сам взял письмо из рук генерала и, не спрашивая обычного позволения, разорвал конверт. Руки его тряслись. Медленно развернув листок, Егер прочел письмо, вздохнул и рассмеялся.

– Ну, я вижу... – холодно сказал Фильбанк, – ваши мысли заняты. Ухожу.

Егер продолжал смеяться. От смеха на глазах его выступили слезы.

– Извините, генерал... – проговорил он, – я не в своем уме.

Они стояли друг против друга. Генерал, натянуто улыбаясь, пожал плечами, как бы желая сказать: «Я знаю, знаю, как частный человек, я сам»... – сделал рукой извиняющий жест и вышел.

– О глупая! – сказал Егер, прикладывая письмо к щеке. – О глупая! – повторил он так мягко, как только мог произнести это его голос, охрипший от команд и дождей. Он снова перечитал письмо. «Дорогой, прости Эльзу. Я поверила клевете на тебя, мне ложно доказали, что я у тебя не одна. Но я больше не буду».

– Ах вы, глупые женщины! – сказал Егер. – Стоит вам соврать, а вы уже и поверили. Я счастливый человек. За что мне столько счастья?

Затуманенными глазами смотрел он прямо перед собой, забыв обо всем. И вот, тихо задрожав, на полотнище палатки остановилось, как солнечный зайчик, неяркое, конусообразное пятно. Центр его, заметно сгущаясь, напоминал пулю. Конец оболочки, сорванный в одном месте, обнажил темный свинец.

Егер закрыл глаза, а когда открыл их, пятно исчезло. Он вспомнил о безумном поведении своем в памятное утро взятия форта и вздрогнул. «Нет, теперь я не хочу этого, нет». – Он перебрал все лучшие, радостные мгновения жизни и не мог найти в них ничего прекраснее, восхитительнее, божественнее, чем то письмо, которое держал теперь в руках.

Он сел, положил голову на руки и долго, не менее часа, сидел так, полный одним чувством. Когда заиграл рожок, он не сразу понял, в чем дело, но, поняв, внутренне потускнел и, повинуясь привычке, выбежал к построившейся уже в боевой порядок роте. Наступал неприятель.

Стрелки рассыпались, выдвигаясь цепью навстречу неприятельскому арьергарду, откуда, словно приближающийся ливень, летела, рассыпаясь, пыльная линия ударяющих все ближе и ближе пуль. Егер, следуя за стрелками, ощутил не страх, а зудливое, подозрительное беспокойство, но тотчас, как только глухие щелчки, пыля, стали раздаваться вокруг него, беспокойство исчезло. Его сменила теплая, благородная уверенность. Сильным, спокойным голосом отдал он команду ложиться, улыбнулся и упал с пробитой головой, не понимая, отчего земля вдруг поднялась к нему, бросившись на грудь.

– Удивительно крепкие пули, – сказал доктор в походном лазарете своему коллеге, рассматривая извлеченную из головы Егера пулю. – Она даже не сплюснулась. Чуть-чуть сорвало оболочку.

– Это не всегда бывает, – возразил второй, умывая темные, как в перчатках, руки, – и пуля Консидье может, попав в ребро костяка, разбиться.

Он стал рассматривать крошечный, весом не более пяти золотников, ружейный снаряд. У конца его была слегка сорвана оболочка и из-под нее темнел голый свинец.

– Да, гуманная пуля, – сказал он. – Как по-вашему, дела капитана?

– Очень плохо. На единицу.

– С минусом. Геслер был крепче, но и тот не выжил.

– Да, – возразил первый, – но этот счастливее. Он без сознания, а тот умер, не переставая кричать от боли.

– Так, – сказал второй, – счастье условно.

Происшествие в квартире г-жи Сериз

*«Мало на свете мудрецов,
друг Горацио».*
Шекспир наизнанку

I

Калиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда: Ньютоново яблоко, Лавуазье и т. п., но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевременно убедились в них¹. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего отечества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смещении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: «помер, где-нибудь; тайно, стыдливо помер; помер, как пить дать». И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин – Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым знанием: постижением начала вселенной – занятие, малопонятное игроку на бильярде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрейцеров, – он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи; она, забушевал, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех измерений.

II

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы.

¹ Принцесса Ламбаль, подруга Марии-Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная Цветочница – прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленные острия пик санкиюотов по приказанию Теруан-де-Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефиротами, элементами Белой магии, – Калиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт Добра, направленный против Самоэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям.

– Мадим, Цедек, Шелом-Иезодот, – тихо сказал он, – ко мне! Моя мысль – моя воля!

Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов; контуры эти колебались, светились – напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание – и пол скрипнул под их ногами.

Цедек был сефирот прямоты, Мадим – страшной силы, Шелом-Иезодот – разрушителем оснований, то бишь принципов.

– Цедек, разбей воздух на запад, – сказал Калиостро, – Мадим, уничтожь пространство, а ты, Шелом-Иезодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей!

Вновь вспыхнул свет; фантомы исчезли; беззвучный ураган молнией пролетел от Армуна к Бельгии; пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя и что должно было послужить взяткой сефиротам за единение с Разумом событий, именуемым Ацилут.

III

В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сериз. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый, правильный лоб, мягкий профиль, темнорусые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый, и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез – тяжесть ресниц.

Госпожа Сериз занималась вот каким делом: она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу; в этом романе Альберт Вуаси тоже ушел на войну и у него тоже была жена. Разумеется, г-жа Сериз сделала эту жену собой, а господина Вуаси – господином Сериз. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее: если Вуаси благополучно вернется, то и Сериз благополучно вернется, а если Вуаси неблагополучно вернется, то и Сериз последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, г-жа Сериз тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную чем-то на переплете: «Дико и некультурно вырывать страницы; на это способен только немец; стыдитесь, неизвестный вырыванец!»

Увы! последние страницы были вырваны! А г-жа Сериз и не подозревала этого! Гадание, таким образом, кончалось на следующих словах: «Шатаясь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по...». Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Г-жа Сериз топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он, к какому такому «по...». Если это – пороховой погреб – от Вуаси мало чего осталось. Если – по...лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если – по...гибели, то... каждый понимает, что это значит и не следовало писать такой глупый роман.

Видя огорчение госпожи Сериз, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сефиротов. То были: Бина, сефирот Разумного действия, Хесед, сефирот Сострадания и Нэтцах – Стойкость победы. С крыльев их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов.

– Я думаю, – сказал Калиостро, – я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль – мое приказание!

Тотчас же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнулся: ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед г-жой Сериз, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться – на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она не увидела.

– Здравствуйте, г-жа Сериз! – сказал Вуаси-Бина, оправляя гусарский ментик, – «...следнему неприятельскому солдату».

– Г-н Вуаси! – строго заявила г-жа Сериз. – Вы исчезли с триста пятнадцатой страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное «по...».

– Так, – сказал Вуаси-Бина. – Я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен.

– Так ли, г-н Вуаси?

– Да, это так. Поверьте, мне лучше знать: ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие.

– Значит, вы благополучно вернулись?

– Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу, – в известных целях.

Г-жа Сериз покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так выразительно, что Бина-Вуаси счел долгом помочь ей.

– Г-н Сериз, конечно, здоров, – сказал он. – Он вернется.

– Вы думаете?

– Я знаю это. Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков.

Г-жа Сериз, в виде благодарности, заинтересовалась положением самого Вуаси.

– Так вы, значит, женились на мадемуазель Шеврез?

– Как полагается.

– По любви?

– Да.

– И были ей хорошим мужем?

– Сударыня, – возразил Вуаси-Бина, – автор в противном бы случае не сел бы писать роман.

Г-жа Сериз растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота: материя, коей был облечен он, распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление.

– Что это? – сказала она, вздрагивая. – Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я? Ах, тоска, тоска! Был здесь г-н Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив.

Она томилась, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить г-жу Сериз, это во-первых, и внушить ей Радостную уверенность – во-вторых. Сефирот оживил фотографию г-на Сериз, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд г-жи Сериз упал на этот портрет – с ним произошли поразительные, странные вещи: левая рука ловко закрутила черный, молодой ус; один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно не безобразным образом, и г-жа Сериз окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что г-жа Сериз, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хесед; тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины и Радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказало ей; она бессильна была решить – было то, что было, или же было то, чего не было? Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.

IV

Третий сефирот, Нэтцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал свою крепкой, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовившихся пробить г-на Сериз. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе; отдых Нэтцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак, – тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел; или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов.

Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. «Есть ли душа у немца?» – размышлял сефирот. Оставим его решать этот вопрос: мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается.

Калиостро посмотрел в зеркало Свенденборга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул вверх, к высокому потолку, где в сумерках снежного вечера тихо плавали чудесные лилии Ацилут – Мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был Разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт Разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это.

Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран; гордые, голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро, а на великолепных рогах белел снег.

– Ступай, дикий, ступай, – сказал Калиостро, – немного вниз и немного налево! Там есть еще довольно травы.

Баран исчез, и был ему по его бараньему положению – травяной кусок хлеба.

Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун, в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все, описанное здесь, – истинно, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхеридиона, читаемую по воскресеньям:

«Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне, по благодати твоей, мир и здоровье и яви свою милость мне, слабому твоему созданию!»

Рассказ Бирка

Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лица этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.

– Неужели, – сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, – неужели вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?

Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.

– Нет, – возразил он, принимая прежнее положение, – я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.

– Но и не с того света? – вскричал журналист. – Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и сокройте что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.

Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:

– Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактическими, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я – человек, абсолютно лишенный так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рассказ убедителен лишь при наличии мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: «Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок», не только убеждает нас в действительности убийства, но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности.

Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы вернуть следующее замечание:

– Только не страшное!

– Страшное? – спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. – Нет, это не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, – самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.

Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным, таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал

сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.

– Еще в молодости, – заговорил Бирк, – я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я» и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.

Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.

Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупa. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел, – я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка – причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личико в кровавую массу.

Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.

Повторяю: я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни формы людей, колеблющиеся, размахивающие руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.

Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясные представления о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвизгивает над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не невероятная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим

поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общезитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.

Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с формы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.

От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, однотонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:

Кривая линия. Прямая линия. Впечатление тени, доставляемое городом. Впечатление света, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеблющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.

Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.

Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок: мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взведя курюю, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.

К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь.

Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.

Странно – но этот эпизод развлек меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду – человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.

Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием, молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание, – птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной.

Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.

Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к Новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой, скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебежали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.

Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.

Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой,

маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.

Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте – будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплылись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.

Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению – видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родственника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающимися в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием – таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать беззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.

Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.

Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.

Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:

– Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.

– Пожалуйста, сударь, – ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом. – Боюсь, не отсырели ли спички.

– Спички? – сказал я, поворачиваясь в их сторону, – спички есть у меня. Берите.

И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:

– Вы очень вежливы!

– Да, по мере возможности! – Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся. – Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.

– Вы чрезвычайно вежливы, – настойчиво повторил маленький.

– Да, это странно, – отозвался глухим басом другой. – Какая нынче прекрасная погода!
– Погода так хороша, – подхватил я, – что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?

Он, не сморгнув, ответил:

– Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.

– Другими словами, – сказал я, потеряв терпение, – я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.

Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную.

– Вас двое, – сказал я, – против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун – человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.

И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.

Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.

С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если сообщение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения – я был уже вором, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.

Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.

И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей – и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их – я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бессмысленно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой, – рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, – все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.

Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.

– Если конец должен быть, дверь откроется.

Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.

Новый прилив возбуждения схлынул – я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.

Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть конец? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня – вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо, – обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда напрашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) конца не будет.

И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер – клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что ничего нет. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение – к отступлению, простое бессознательное движение мысли – к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела – почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я – знал, что будет.

Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.

Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнуемое до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.

Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погрузившись в себя, замер от ожидания.

Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.

Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.

Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание... Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему – дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуволимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, щупая дверь.

Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясущимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так – не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма, – я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.

Это была моя комната; все, начиная с мебели к кончая безделушками на камине, – было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности – все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.

Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был – я.

Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих переглянуться. Он продолжал:

– Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:

– Вы осмотрели всю комнату?

– Да.

– В ней никого не было?

– Совершенно.

– Вы осмотрели кровать?

– Да.

– Кто лежал на этой кровати?

– Она была пуста.

– Теперь, – сказал я, – будьте добры, взгляните на наружную дверь.

С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:

– Здесь были воры! Дверь сломана!

И он выпустил град ругательств.

Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.

– Потом вы вернулись к себе?

– Нет, – протянул он, полузакрывая глаза, – я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.

– А потом? – спросил журналист с тонкой улыбкой. – Потом с вами ничего не было?

– Ничего, – задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:

– Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и... и...

– И горя, – сказала женщина, просившая о нестрашном.

P.S. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент горя. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый земле-владелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: «Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, – самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках». В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.

Путь

I

Замечательно, что при всей своей откровенности Эли Стар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии; это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен; может быть, он думал, что ему не поверят.

Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер, не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел (нет – он с силой плюхнулся в кресло), и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами.

– Кестер, – сказал он наконец, – думаете ли вы, что Эли порядочный человек?

Я встал, снова сел и вытаращил на него глаза.

– Вы выпили немного, Генникер, – сказал я. – Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите.

– Вчера, – сказал он таким голосом, как будто читал по книге завещание одного из персонажей романа, – вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он присидел с нами, как истукан, почти не разговаривая, до вечера.

После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Эли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада.

– Ну, что? – немного встревоженный спросил я. – Вы поссорились?

– Нет, – сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи, – но между нами все кончено. Я не буду его женой.

Пораженный, я встал; первой моей мыслью было отыскать Эли. Синтия угадала мое движение. – Он ушел, – сказала она, – ушел так поспешно, что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать. – Она рассмеялась злым смехом; действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?

Я засыпал ее вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Эли ушел, отказался от своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер.

Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик хлыста бешено извивался на полу. Для меня это было еще большей неожиданностью.

– Может быть, он скажет тебе в чем дело, – продолжал Генникер. – До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом.

Я взял шляпу и трость.

– Посиди здесь, Генникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его последний раз? Раньше вчерашнего?

– В прошлое воскресенье, за городом. Он шел от парка к молочной ферме.

– Да, – подхватил я, – постой, вы встретились.

– Да.

– Ты поклонился?

– Да.

– И у него был такой вид, как будто он не замечает твоего существования.

– Да, – сказал изумленный Генникер. – Но тебя ведь с ним не было?

– Это не трудно угадать, милый; в то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу; но он смотрел сквозь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я уйду, Генникер, к нему; я умею расспрашивать.

II

В серой полутьме комнаты я рассмотрел Эли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки.

– Это ты, Кестер? – спросил Стар. – Прости, здесь темно. Нажми кнопку.

В электрическом свете тонкое юношеское лицо Эли показалось мне детски-суровым – он смотрел на меня в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе.

– Эли! – громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение. – Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось?

– Ничего, – процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться. – Я попрошу прощения и напишу Синтии письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодяй. Тогда меня оставят в покое.

– Конечно, – сказал я мирным тоном, – ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже. Элион Стар, я тебя спрашиваю – отбросим шутки в сторону, – почему ты обидел эту прекрасную девушку?

Эли беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопил его; мы молчали.

– Расскажешь, – подозрительно сказал он, испытующе взглянув на меня. – Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер, – конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе в чем дело, то погублю все. Вы – то есть ты и Генникер – отправите меня с доктором и будете уверять Синтию, что все обстоит прекрасно.

– Эли, я даю слово.

Не знаю почему, – эти мои вялые, неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок его душе.

Он как будто повеселел. «В самом деле», – говорили его глаза. Но он все еще колебался; казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Эли высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне:

«Две недели назад утром я проснулся в тоскливом настроении духа и тела. К этому обычному для меня в последнее время состоянию примешивалось непонятное, тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого, торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда; я был в четырех стенах.

Я вышел на улицу, погруженный в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразил маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением (потому что это центральная часть города) рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда

господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, прошел сквозь холм, да, он погрузился в него по пояс и удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман.

Я оглянулся, Кестер; город принимал странный вид: дома, улицы, вывески, трубы – все было как бы сделано из кисеи, в прозрачности которой лежали странные пейзажи, мешаясь своими очертаниями с угловатостью городских линий; совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город. Случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения, когда все окружающее двоится в глазах? Это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях, с той разницей, что для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга – два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами.

Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожившего меня до полного паралича мысли; пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленный, я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины – дикие кусты, ручей, пересекавший улицу.

С наступлением вечера двойственность стала тускнеть; еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город.

На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться; тот же странный, величественный пейзаж сверкал сквозь очертания города; я мог изучать его, не поднимаясь с постели. Широкая, туманная от голубой пыли, дорога вилась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде, полной лиловых теней. Неизвестные, полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге; то был настоящий живой поток; скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор; смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении, с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо, перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение. Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии – все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца.

Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть, Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин – ясны, как весенний поток.

Снова с наступлением темноты я перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь, по комнатам. Куда идут эти люди? – спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу изо дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами. Я пойду с ними. Я твердо решил это, я завидую глубокой уверенности их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, невысказанные для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления степной дороги».

Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент, я действительно верил тогда, что Эли видит что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качества одной хорошей лечебницы.

Я ушел, оставив Эли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, расспросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Генникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Эли пришлось поместить газетную публикацию:

«Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин, с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос; вышел из дома с небольшим ручным саквояжем в 11 ч. утра. Указавшему местопребывание Стара будет выдано хорошее вознаграждение».

В солидной, купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне:

– Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Элиона Стар? Он был ваш друг.

– Да, помню, – сказал я.

– Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание.

Я встал.

– Да... бедняга, – продолжал хозяин, – он умер в отрепьях, с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын.

– Он лежал совершенно спокойно, – сказал отцу Эли врач, – казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно – улыбка. Мертвый, он улыбался.

Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. «Он улыбался». Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?

Мертвые за живых

I. Бегство

Комон, иначе именуемый – Гимнаст, – начал игру с правительством. Почтенная игра эта угрожала так плотно, что утром, заслышав на коридоре ласковый перезвон шпор, Комон, не медля секунды, перестал завтракать. Он встал, выпрямился, все еще с набитым, жующим по инерции ртом; затем, решительно выплюнув непрожеванный сыр, поднял револьвер и подошел к двери.

– Откройте, – многозначительно воскликнул некто из коридора.

– Сколько вас? – спросил Комон. – Я спрашиваю потому, что, если вас очень много, вы не поместитесь все в одной комнате.

– Комон, именуемый Гимнаст. Откройте.

– Я потерял ключ.

– Ломайте, ребята, дверь.

– Я посмотрю на вас в дырочку, – сказал Гимнаст.

Он выстрелил несколько раз сквозь доски, соображая в то же время, куда бежать. Шум и грохот за дверью показал ему, что там шарахнулись. Он подбежал к окну, заглянул в шестиэтажное, узкое пространство улицы, перегнувшись в сторону таким могучим усилием, что тело несколько мгновений держалось за подоконник только носками, поймал водосточную трубу. Через минуту он спрыгнул на мостовую без шапки и с револьвером в зубах, напоминая кошку, уносящую воробья.

Осмотревшись, Гимнаст побежал с быстротой ящерицы. Вид бегущего человека не сразу разбудил инстинкты погони в уличной толпе, сновавшей вокруг. Прохожие остановились; некоторые из них, с видом лунатика, медленно пошли за бегущим, вопросительно смотря друг на друга, затем, вдруг сорвавшись, как будто им дали сзади пинка, бессмысленно помчались, крича: «Держи его, лови. Не пускай!».

Комон был ловок и неутомим в беге. Согнувшись, чем уменьшал сопротивление воздуха, бросался он с одной стороны улицы на другую, вился вокруг карет, столбов, omnibusов, газетных киосков, распластывался, когда чувствовал на себе хватающую руку, и преследователь летел через него кувырком. Если бы ему пришлось бежать в пустом месте, Комон давно бы опередил всех, но как немисливо пловцу опередить воду, так Гимнаст не мог оставить за собой город; за каждым углом, в каждом переулке и повороте, срывались за ним, хрипло крича, новые охотники; уличные собаки, бессознательно копируя людей, хватали Комона за пятки с грозным и воинственным лаем.

Четыре раза, спасаясь от поимки, Гимнаст оборачивался, швырял пули, и каждый раз происходило некоторое смертельное замешательство. Наконец, выбежав на площадь, Комон увидел, что к нему мчатся со всех сторон, и улизнуть трудно. Тогда, повинувшись инстинкту, матери всех человеческих дел, беглец ринулся в Исторический музей, опрокинув швейцара, взвился по роскошной лестнице в третий этаж и остановился, соображая, что делать; он употребил на это секунду.

II. Непочтение к праотцам

Музей только что открыл свои двери, и публики еще было немного. Комон бросился, не обращая внимания на изумленных посетителей, через множество зал, в самую длинную,

кривую и сумеречную, напоминающую лес от множества загромождавших ее витрин, подставок, щитов с оружием, целого войска мумий и ширм, похожих на театральные кулисы; по ширмам этим, живописно блестя на темном бархате, висели кольчуги, латы, шлемы, набедренники, топоры, луки, стрелы, арбалеты, мечи, палаши, кинжалы и сабли. Древние золотые венцы греческих героев покоились на столбах; лес копий, знамен и бунчуков таился в углах. Каждая вещь здесь взывала к бою, вооружению, сопротивлению, ударам и натиску.

Первое, что сделал Комон, – это баррикаду у захлопнутой за собой двери. Он навалил на нее трех оглушительно зазвеневших стальных рыцарей времен Меровингов, на рыцарей бросил полдюжины фараонов Верхнего Нила, вместе с их раскрашенными ящиками; поверх всего опрокинул, сломав, несколько витрин с монетами, которые раскатились по полу совершенно так, как раскатывались, если их просыпали при Гамилькаре Барке. На это Комон употребил две минуты.

С той же быстротой, следствием большой нервности и физической силы, Гимнаст, отбросив пустой револьвер, одел тяжелую мягкую кольчугу, шлем, опустил забрало и немного замешкался; при виде исключительного разнообразия оружия глаза его разбежались. С арбалетами он не умел обращаться, луки были без тетивы, кинжалы и сабли не внушали почтения. Комон был во власти своих кольчуги и шлема, он как бы припоминал в себе далекое прошлое человечества. Ему хотелось дорого и недурно продать жизнь. Гимнаст выбрал меч, огромный, сверкающий и тяжелый, каким, вероятно, не раз крошила железная саксонская рука звонких латников. Меч был внушитель. Гимнаст взмахнул им над головой, затем, для пробы, обрушил страшный удар на одну из мумий; дерево, треснув, распалось, и запеленутый фараон кубарем вылетел из него, распространяя запах старомодных духов, которыми был пропитан весьма старательно.

Догадливость не изменила Комону при виде столь древнего явления; проворно затолкав фараона в угол, Гимнаст, с мечом в руках, втиснулся в египетскую могилу, прикрыв себя другой половиной ящика. Дверь, тем временем, поддаваясь усилиям солдат и сторожей, глухо звенела латами валявшихся на полу рыцарей. Комон стоял в душной ароматической тьме ящика и прислушивался. Скоро ворвалась, судя по шуму, целая толпа людей, с криками разбежались они по длинным проходам зала, и Гимнаст слышал их, полные бешенства, возгласы:

- Все сломано.
- Ай, и деньги тут, на полу.
- Кто-то шепнул, задыхаясь:
- Я возьму парочку, а?
- Другой шепот:
- Тащи, чего зевать. Тсс...
- Негодяй. Сумасшедший. Стреляй его.
- Где он? Р-р-р-р...
- Лови. Дави. Хватай.
- О-р. Э-э. А-а.

Неосторожное движение Гимнаста выдало его. Он случайно толкнул коленом крышку, она упала прежде, чем он успел придержать ее, и в общем смятении глазам врагов предстал воин средневековья, с занесенным мечом. Он двинул им на первого солдата (незащищенного, разумеется, кольчугой) и отрубил ему, наискось, от плеча к бедру, верхнюю часть организма.

III. Комон, т. е. Баярд

Злополучная участь испорченного солдата на мгновение ужаснула остальных, а затем грянули выстрелы. Револьверные пули, однако, не пробили хорошо сработанную кольчугу; тем не менее удары их были сквозь сетку весьма сильны и болезненны. Гимнаст бросился на врагов.

Он рубил без жалости и пощады, навстречу ему подымались хрупкие клинки сабель, но что могли они сделать против двадцатипятифунтовой стали в сильных руках. Комон, воистину, уподобился Баярду. Две головы отсек он, упавших на раздробленное стекло витрин, и стекло стало красным. Один поплатился рукой, а несколько – даже рукой вместе с плечом; у этих быстро закатились глаза. И скоро стало пусто вокруг Комона, но сам он, раненный пулей в мякоть ноги, видел, что не продержится перед новым натиском.

– Бежали робкие грузины, – вскричал Гимнаст и бросился к выходу, расчищая себе путь своим Дюрандалем. Любопытные, столпившиеся у подъезда, разбежались при виде страшного, со слепым железным лицом, человека – так быстро, что потом сами удивлялись своей подвижности.

Комон схватил первого попавшегося извозчика, бледного от ужаса, столкнул его, швырнул меч в голову толстому лавочнику и так крикнул на лошадь, что она помчалась, как беговая. И Комон благополучно удрал. Это бывает. Простое вдохновение часто выручает человека лучше всяких расчетов.

Ничего не может быть действительнее описанного мною происшествия.

Всадник без головы

(Рукопись XVIII столетия)

I. Немножко истории

Все знают великого полководца Ганса Пихгольца. Я узнал о нем лишь на одиннадцатом году. Его подвиги вскружили мне голову. Ганс Пихголец воевал тридцать лет со всеми государствами от Апеннин до страшного, каторжного Урала и всех победил. И за это ему поставили на площади Трубадууров памятник из настоящего каррарского мрамора с небольшими прожилками. Великий, не превзойденный никем Ганс сидит верхом на коне, держа в одной руке меч, в другой – копье, а за спиной у него висит мушкетон. Мальборук – мальчишка перед Гансом Пихгольцем.

Таково было общее мнение. Таково было и мое мнение, когда я, двенадцати лет от роду, выстругал деревянный меч и отправился на городской выгон покорять дерзкий чертополох. Ослы страшно ревели, так как это их любимое кушанье. Я выкосил чертополох от каменоломни до старого крепостного вала и очень устал.

На тринадцатом году меня, Валентина Муттеркинда, отдали в цех поваров. Я делал сосиски и шнабель-клепс и колбасу с горошком, и все это было очень вкусно, но скучно. Я делал также соус из лимонов с капорцами и соус из растертых налимьих печенок. Наконец, я изобрел свой собственный соус «Муттеркинд», и все очень гордились в цехе, называя меня будущим Гуттенбергом, а фатер дал гульден и старую трубку.

А Ганс Пихголец, стоя на площади, посмеивался и величался.

Я ненавидел его, завидовал ему, и он не давал мне спать. Я хотел сам быть таким же великим полководцем, но к этому не было никакого уважительного повода. Фатерланд дремал под колпаком домашнего очага, пуская вместо военных кличей клубы табачного дыма. Все надежды свои я возлагал на римского папу, но папа в то время был вялый и неспособный и под подушкой держал Лютера. Тайно я написал ему донос о ереси на юге Ломбардии, угрожая пасторами, с целью вызвать религиозную драку, но тихий папа к тому времени помер, а новый оказался самым скверным католиком и, смею думать, был очень испуган, прочтя письмо, так как ничего не ответил.

Содрогаясь о славе, я в один прекрасный день швырнул в угол нож, которым резал гусей, и отправился к начальнику стражи. Проходя мимо полицейской патрульной Ганса Пихгольца, я, подняв высоко голову, сказал:

– Тридцать лет, говоришь, воевал? Я буду воевать сто тридцать лет и три года.

II. Любовь

Меня приняли, дали мне лошадь, латы, каску, набедренники, палаш и ботфорты. Мы дежурили от шести до двенадцати, объезжая город и наказывая мошенников. Когда я ехал, звенело все: набедренники, латы, палаш и каска, а шпоры жужжали, как майский жук. У меня огрубел голос, выросли усы, и я очень гордился своей службой, думая, что теперь не отличить меня от Пихгольца: он на коне – и я на коне; он в ботфортах – и я в ботфортах. Проезжая мимо Пихгольца, я лениво крутил усы.

Природа позвала меня к своему делу, и я влюбился. Поэтическая дочь трактирщика жила за городскими воротами, ее звали Амалия, ей было семнадцать лет. Воздушная фигурка ее

была вполне женственна, а я рядом с ней казался могучим дубом. У нее были очень строгие, нравственные родители, поэтому мы воровали свои невинные поцелуи в ближайших рощах. Разврат к тому времени достиг в городе неслыханных пределов, но Амалия ни разу еще не села на колени ни к кому из гостей своего трактира, хотя ее усердно щипали: бургомистр, герр Франц-фон-Кухен, герр Карл-фон-Шванциг, Эзельсон и наши солдаты. Это была малютка, весьма чистоплотная и невинная.

В воскресенье я назначил свидание дорогой Амалии около Цукервальда, большой рощи. Было десять часов, все спали, и ни один огонь не светился на улицах города Тусенбурга.

Отличаясь всегда красивой посадкой, я представлял чудную картину при свете полной луны, сияющей над городской ратушей. Черные в белом свете тени толпились на мостовой, когда я подъехал к воротам и приказал отпереть их именем городской стражи. Но лунный свет, как и пиво, действовали на меня отменно хорошо и полезно, и я был пьян во всех смыслах; от пива, луны и любви, так как выпил на пивопое изрядно. Подбоченясь, проехал я в Роттердамские ворота и пустился по пустынной дороге.

Приближаясь к назначенному месту свидания, я ощутил сильное сердцебиение; лев любви сидел в моем сердце и царапал его когтями от нетерпения. У разветвления дороги я задержал лошадь и крикнул: «Амалия!» Роща безмолвствовала. Я повернул коня по ветру и снова крикнул: «Амалия, ягодка!» Эхо подхватило мои слова и грустно умолкло. Я подождал ровно столько, сколько нужно, для того чтобы шалунья, если она здесь, кончила свои шутки, и нежно воззвал: «Амалия!»

В ответ мне захохотал филин глухим, как в трубку пущенным, хохотом и полетел, шараясь среди ветвей, к темным трущобам. До сих пор уверен я, что это был дьявол, враг бога и человека.

Я натянул удила, конь заржал, поднялся на дыбы и, фыркая от тяжелой моей руки, осел на задние ноги. – «Нет, ты не обманула, Амалия, чистая голубка, – прошептал я в порыве грустного умиления, – но родители подкараулили тебя у дверей и молча схватили за руки. Ты вернулась, обливаясь слезами, – продолжал я, – но мы завтра увидимся».

Успокоив, таким образом, взволнованную свою кровь и отстранив требования природы, я, Валентин Муттеркинд, собирался уже вернуться в казарму, как вдруг слабый, еле заметный свет в глубине рощи приковал мое внимание к необъяснимости своего появления.

III. Беседа

Знаменитый полководец Пихгольц сказал однажды, в пылу битвы: «Терпение, терпение и терпение». Ненавидя его, но соглашаясь с гениальным умом, я слез, обмотал копыта лошади мягкой травой и двинулся, ведя ее в поводу, на озаренный уголок мрака. Насколько от меня зависело, – сучья и кустарники не трещали. Так я продвинулся вперед сажен на пятьдесят, пока не был остановлен поистине курьезнейшим зрелищем. Аккуратный в силу рождения, я расскажу по порядку.

Прямо на земле, в шагах десяти от меня, горели, зажженные на все свечи, два серебряных канделябра, очень хорошей, тонкой и художественной работы. Перед ними, куря огромную трубку, сидел старик в шляпе с пером, желтом камзоле и сапогах из красной кожи. Сзади его и по сторонам лежало множество различных вещей; тут были рапиры с золотыми насечками, мандолины, арфы, кубки, серебряные кувшины, ковры, скатанные в трубку, атласные и бархатные подушки, большие, неизвестно набитые чем узлы и множество дорогих костюмов, сваленных в кучу. Старик имел вид почтенный и грустный; он тяжело вздыхал, осматривался по сторонам и кашлял. – «Черт побери запоздавшую телегу, – хрипло пробормотал он, – этот балбес испортит мне больше крови, чем ее есть в этих старых жилах», – и он хлопнул себя по шее.

Пылая жаром нестерпимого любопытства, я вскочил на захрапевшую лошадь и, подскочив к старику, вскричал: «Почтенный отец, что заставляет ваши седины ночевать под открытым небом?» Человек этот, однако, на мой добродушный вопрос принял меня, вероятно, за вора или разбойника, так как неожиданно схватил пистолет, позеленел и согнулся. «Не бойтесь, – горько рассмеявшись, сказал я, – я призван богом и начальством защищать мирных людей». Он, прищурившись, долго смотрел на меня и опустил пистолет. Мое открытое, честное и мужественное лицо рассеяло его опасения.

– Да это Муттеркинд, сын Муттеркинда? – вскричал он, поднимая один канделябр для лучшего рассмотрения.

– Откуда вы меня знаете? – спросил я, удивленный, но и польщенный.

– Все знают, – загадочно произнес старик. – Не спрашивай, молодой человек, о том, что тебе самому хорошо известно. Величие души трудно спрятать, все знают о твоих великих мечтах и грандиозных замыслах.

Я покраснел и, хотя продолжал удивляться пронизательности этого человека, однако втайне был с ним согласен.

– Вот, – сказал он, показывая на разбросанные кругом вещи, и зарыдал. Не зная, чем помочь его горю, я смиренно сидел в седле. Скоро перестав плакать, и даже быстрее, чем это возможно при судорожных рыданиях, старик продолжал: – Вот что произошло со мной, Адольфом-фон-Готлибмухеном. Я жил в загородном доме Карлуши Клейнферминфеля, что в полуверсте отсюда. Клейнферминфель и я поспорили о Гансе Пихгольце. «Великий полководец Пихголец», – сказал Карлуша и ударил кулаком по столу. – «Дряннейшенький полководишка», – скромно возразил я, но не ударил кулаком по столу, а тихо смеялся, и смех мой дошел до сердца Клейнферминфеля. – «Как, – вне себя вскричал он, – вы смеете?! Пихголец очень великий полководец», – и он снова ударил кулаком по столу так, что я рассердился. – «Наидрянне-дрянные-дрянные-дрянные-дрянейшенький полководчишка», – закричал я и ударил кулаком по Клейнферминфелю. Мы покатались на пол. Тогда я встал, выплюнул два зуба и пошел в город, где остался до ночи, чтобы насолить Клейнферминфелю. Ты давно из города, юноша?

– Едва ли будет полтора часа, – поспешно ответил я, желая выслушать конец дела, поведение в коем Готлибмухена было весьма справедливо.

– Я час тому назад, – сказал Готлибмухен, смотря на меня во все глаза, – сорвал голову Пихгольцу.

– Так, так-так-так-так-так-так-так!

– Да. На площади никого не было. Я взлез на каменного коня, сел верхом сзади Ганса Пихгольца и отбил ему голову тремя ударами молотка и бросил эту жалкую добычу в мусорный ящик.

Не удержавшись, я радостно захохотал, представляя себе зазнавшегося Ганса без головы...

– Голубчик, – сказал я. – Голубчик!..

– А?

– Он ведь, Ганс...

– Угу.

– Не совсем...

– А?

– Не совсем... великий... и...

– Он просто ничтожество, – сказал Готлибмухен. – Так ведь и есть. Стой, – думал я, – запоешь ты, Клейнферминфель, когда узнаешь, что Гансу отбили голову. Я вернулся и увидел, что вещи мои выброшены во двор; этот негодяй, почитатель Ганса Пихгольца...

– Как! – вскричал я, хватаясь за эфес. – Он смел...

– Ты видишь. Я взял телегу и, навалив, как попало, все свое имущество, приехал сюда, под кров неба, делить горькую участь бродяг. Но ты не беспокойся, храбрый и добрый юноша, – прибавил он, заметив, что я очень взволнован, – я переночую на этих подушках, завернувшись в ковры, а перед сном почитаю библию. Добрый крестьянин приедет за мной утром и отвезет меня в город.

– Нет, – возразил я, – я отправлюсь за телегой и перевезу вас сейчас.

– Хорошо, – сказал он, подумав, – но с условием, что ты возьмешь от меня пять золотых монет.

Он вынул их так охотно, что я не стал спорить, хотя и очень удивился его щедрости. Отныне Пихгольц бессилен был давить меня своей славой – у него не было головы. Я рвался в город, чтобы взглянуть, гордо поднять свою голову.

– Жду тебя, сын мой, – кротко сказал старик и прибавил: – седины старости и кудри юности – надежда отечества.

Стиснув в порыве гордости зубы, я взвился соколом и понесся галопом в город.

IV. Венец несчастья

Я объехал четыре раза статую Ганса Пихгольца. Голова у него тут как тут. Возможно, что это лишь призрак несуществующей головы. Я слез с коня, влез на Пихгольца, облизал и обнюхал голову. Твердая, каменная голова. Ничего нельзя возразить. Я вспотел. Мне показалось, что Ганс повернул голову и захохотал каменным смехом. Если я поеду уличать во лжи Готлибмухена, он скажет, что я дурак, а я, вот именно, не дурак. Я решил оставить его в лесу с его канделябрами и коврами. Испуганный, усталый и злой, не удовлетворив к тому же требований природы, я вернулся в казармы и лег спать. Всю ночь скакал надо мной Ганс Пихгольц, держа в руках оскалившую зубы голову.

Утром позвал нас начальник стражи и громко топал ногами и велел скорее собираться в загородный дом Клейнферминфеля и сказал, что его ограбили. Он прибавил еще, что в Клейнферминфеле глубоко сидят четыре пули и что, если их вытащить, ничего от этого не изменится.

Я был женой Лота (Готлибмухен! Молчу!). Вечером, когда я пошел удовлетворять требования природы и сговориться насчет свидания, я увидел небесную голубку Амалию на коленях у герр фон-Кухена, и она обнимала его и герр фон-Шванцига, а Шванциг щипал ее.

– Ах-х!

История Таурена

(Из походов Пик-Мика)

І. Западня

Я был схвачен, посажен неизвестными мне людьми в карету и увезен. Некоторое время – спазмы, удушья и сильнейшее сердцебиение, явившиеся результатом внезапного испуга, – заставили меня думать, что наступил последний момент. Я ждал смерти. Волнение прошло, и я отдышался, но не мог произнести ни одного слова. Мой рот был натуго затянут платком, а руки скручены сзади тонким, но крепким ремнем. Со мной, в карете, сидело двое. Они смотрели по сторонам, как жандармы, не любящие встречаться взглядом с глазами пленника. Один – справа – был рослый черноволосый парень, с неуловимо фатальным обликом черт, присущим людям, готовым на все. Сосредоточенно-мстительное выражение его лица было почти болезненным. Второй, уступая первому в росте и сложении, обладал прелестными голубыми глазами, напоминающими глаза женщины.

Он был безусловно красив, и по контрасту с изысканным лицом это же самое фатально-роковое в его лице производило отталкивающее впечатление. Из того, что мне не завязали глаз, я понял, как мало боятся меня эти два человека, решившие, очевидно, заранее, что мне в другой раз увидеть их не придется. Иначе говоря, их намерения относительно меня были вне спора. Меня хотели убить.

Я знал, и знал очень хорошо, что в фактах жизни моей и даже в помыслах нет никакого повода для насилия над моей личностью. Чтобы окончательно убедить себя в этом, я проследил мысленно свою жизнь от пеленок до похищения. Она была безгрешна и незначительна. Следовательно, похищение явилось результатом какой-то непонятной, но несомненной ошибки.

Не зная все-таки, что произойдет дальше, я переживал сильный страх. Мы выехали на окраину городка и свернули к морю, где в узкой полосе прибрежного тумана обрисовывались хмурые, без окон, постройки; вероятно – склады или сараи. Колеса скрипели по мокрому от утреннего дождя песку, и, наконец, карета остановилась против старых деревянных ворот. Меня высадили, втолкнули в калитку и провели через заваленный ржавыми якорями двор в небольшой, кирпичный подвал.

Теперь, когда мне, по-видимому, предстояло уже нечто определенное – смерть, плен или свобода, – я приободрился и рассмотрел с большим вниманием окружающее. За грязным столом деревянным сидело пять молодых, приблизительно в тридцатилетнем возрасте, в обычных городских, сильно потертых костюмах. Лица их я припоминал потом, в данный же момент мне бросилось в глаза то, что все они смотрели на меня с чувством удовлетворения и нетерпения. На столе горела свеча, слабо озаряя призрачным рыжим светом полутемные углы подвала, полного сора, сломанных лопат и пустых ящиков, а дневной свет, скатываясь со двора по ступенькам, едва достигал стола. Вероятно, это было случайным местом для заседания, смысл и цель которого пока были темны.

Я стоял, поматывая головой с завязанным ртом, с видом лошади, одолеваемой мухами. Мне развязали руки. В тот же миг я сорвал затекшими пальцами туго стягивавший лицо платок и перевел дух. Нервно дергающийся, с крикливым лицом, человек, сидевший на председательском месте, т. е. в центре, сказал:

– От того, насколько вы будете чистосердечны и откровенны, зависит ваша жизнь.

II. Допрос

Раньше чем кто-либо успел вставить еще слово – я разразился протестами. Я указывал на недопустимость – со всех точек зрения – подобного бесцеремонного, ужасающего обращения с каким бы то ни было человеком. Я упомянул, что мой адрес известен и во всякую минуту можно придти ко мне со всеми делами, даже такими, которые требуют похищения. Я объяснял, что служу в почтамте и неповинен в сообщничестве с подонками общества. Я сказал даже, что буду жаловаться прокурору. В заключение, дав понять этим людям всю силу потрясения, перенесенного мной, я развел руками и, горестно усмехаясь, сел на пустой ящик.

Человек с крикливым лицом сказал пронзительным, как у молодого петуха, голосом:

– Дело идет о вашей жизни. Не думаю, чтобы вы выпутались. Все же откровенность может помочь вам, если окажется, что этого вы заслуживаете.

– Бандит! – взревел я, сжимая руки. – Что случилось?! Каким планам вашим я помешал?!

Другой товарищ его, вялый, как чахоточная улитка, задумчиво погрыз ногти, уперся руками в стол и, кашляя, начал:

– Знали вы Таурена Байю?

Я знал Байю. Неопределенное предчувствие света, готового, наконец, разрушить этот кошмар, заставило меня тряхнуть памятью. Но я не мог ничего припомнить.

– Байя? – переспросил я. – Знаю. Три месяца бутылочного знакомства.

– Может быть... может быть... Дайте нам объяснение.

– Охотно.

Вялый человек пристально осмотрел меня, вытащил из кармана клочок бумаги и протянул мне. Надев очки, я прочел семь слов, выведенных ужасным почерком, как попало. Местами перо прорвало бумагу. На ней было написано: «Телячья головка тортю. Пик-Мик знает все».

Я мог бы засмеяться теперь же, но удержался. То, что мне показалось смешным теперь, относилось именно к телячьей головке, связи же ее с моим похищением я еще не видел. Я ждал.

– Вы уличены, – сказал председатель. – Смотрите, как он побледнел! Предатель!

– Расскажите вы, – спокойно возразил я. – Расскажите все, имеющее касательства к этой дрянной бумажке. Я вижу, что ослеп. Я недогадлив. Дайте мне нить.

Председатель, усмехаясь над предполагаемым притворством моим, сказал мне, что они анархисты, что член их сообщества, Таурен Байя, уличенный в сношениях с полицией и успевший уже выдать шесть человек, убит третьего дня товарищами. На вопрос о причинах гнусного своего поведения, он ответил кривой улыбкой. В него выпустили две пули. Байя упал, вскричав: – «Бумагу!» Умирающий, еле водя рукой, с усмешкой на влажном от предсмертного пота лице, успел написать многозначительную фразу, которую прочел я.

Председатель не кончил еще повествования, как я, не в силах будучи одолеть безумный смех, закрыл руками лицо и стоял так, трясясь и плача от хохота. В зловещем, темном тумане этого дела истина показала мне бесстрастное свое лицо, глубокое и спокойное, как вода озера, баюкающего трупы и водяные лилии; но озеро ни сквернее, ни чище, и так же смотрят в него небо и человек.

III. Показание

То, что я сообщил анархистам, было принято ими, вероятно, за шутку, так как, окончив рассказ, я увидел направленные на себя дула револьверов; но не будем предупреждать событий.

– Видите ли, – сказал я, – месяца три назад я познакомился с господином Байей в кабачке «Нелюдимов», где так хорошо дремлет после обеда у солнечного окна среди мух. Большинство знакомств завязывается случайно, наше не составляло исключения. Байя пришел со своим

хлебом и сыром. Взяв полбутылки вина, он принялся насыщаться с завидным аппетитом молодости. Я смотрел на него в упор, заинтересованный его жизнерадостным, краснощеким лицом; он обернулся, а я раскланялся.

В тот день со мной не было друзей, обычных спутников моих по местам таинственным и приятным, и я, как общительный человек, хотел подцепить парня. Я понравился Байе своим видом скромного учителя, своим тихим голосом и оригинальными замечаниями. Горячо обсуждая общественные и политические вопросы, мы, взяв еще бутылку вина, немного охмелели, и тут, хлопнув меня по плечу, Байя сказал:

– Проклятые буржуа!

– Вот именно, – подтвердил я, – они все мерзавцы.

– Я анархист, – сказал он, бросая в рот крошки сыра, – а вы?

– Пикмист.

– Крайний?

– Немного.

Тут он потребовал объяснений. Я сказал ему несколько темных фраз, пересыпав их цитатами из Анакреона и Джона Стюарта Милля. Сделав вид, что понял, он посмотрел в пустой стакан и вздохнул.

Я был голоден; вкусный пар кушаний, заказанных мною, взвился над столом.

– Господин Байя, – сказал я, – позвольте вас угостить.

Его лицо выразило высокомерие и презрение.

– Я ел, – сказал он, отворачиваясь от соблазна. – Герои Спарты ели кровяную похлебку. Роскошь развращает тело и дух.

– Все-таки, – возразил я, – вы, может быть, шутите. Это довольно вкусно.

– Нет, я скромн в привычках. Класс населения, к которому принадлежу я, питается хлебом, сыром и вареным картофелем. Я был бы изменником.

Положив ложку и вытерев губы, я сосредоточенно, с оттенком сурового сарказма в голосе и настоящим одушевлением развил Байе миросозерцание опыта и греха, доказывая, что человеку ничто человеческое не чуждо. Самые отчаянные софизмы я так принарядил и украсил, что Байя улыбнулся не раз. Чудеса в нашей власти. Байя съел телячью головку тортю. Блюдо это требует, в целях насыщения, некоторой настойчивости. Мы взяли еще по порции.

– Хорошая, – сказал Байя, – я раньше не пробовал.

Вечерело. Около третьей бутылки я задремал, а когда очнулся, Байя исчез. Бросая ретроспективный взгляд в туманную глубину истории, мы видим международные осложнения, родителями коих были глупые короли и не менее глупые королевы, считавшие нужным громить соседа каждый раз, как только сосед по рассеянности в письме напишет «... и прочая...» – два, а не три раза. Примером ничтожных причин и больших последствий явился Байя. Четыре раза встретил я его в ресторане «Подходи веселее», и каждый раз требовал он телячью головку. Это стало его коронным кушаньем, раем, манией. В пятый раз он сообщил мне, лениво требуя Шамбертэна, что хочет повеселиться. Я ободрил его, как только умел. Пятая наша встреча ознаменовалась коротеньким диалогом (за неимением телячей головки последовал соус из раковых шеек и Клоде-Вужо). Байя сказал: «Маленький ручеек впадает в маленькую реку, маленькая река – в большую реку, а большая река – в море. Я думаю, что впаду в море». «Аллегория!» – заметил я, подмигнув Байе. «Это много говорит моему сердцу, – сказал он, – выпьем стаканчик». В шестой раз он влез на фонарный столб закурить сигару и крикнул: «Смерть буржую!» Я утешил его. Через неделю мы столкнулись у граций, и Байя, обливаясь слезами, сказал, что продал ящик револьверов. Затем он впал в мрачно-игривое настроение разрушителя. «Быть может, через неделю мне снесут голову, – сказал Байя, – немножко солнца, вина и женщин хочется всякому молодому человеку. За мной следят». И больше я не видал его.

Таков был рассказ мой судьям, слушавшим напряженно и гневно. «Ясно, – заключил я, – что для такой жизни, какую повел несчастный Таурен Байя, нужны были деньги. Он взял их у ваших врагов. Отсюда предательство. Мрачный юмор записки ясен: простреленный сразу двумя пулями, он не мог уже ни на что больше надеяться и отомстил вам мистификацией. Горьким смехом над собой самим полны эти строки, выведенные предсмертной дрожью руки. Я сказал правду».

– Буржуа! Вы умрете! – вскричал молчавший до того анархист. – Не может видевший нас в лицо выйти живым отсюда.

Пять револьверов окружили меня. С неистовством, мыслимым лишь в грозной опасности, я отпрыгнул назад, толкнул к судьям растерявшегося своего конвоира и вылетел по ступенькам вверх. Выстрелы и свист пуль показались мне страшным сном. Я был уже у ворот, в двадцати шагах расстояния от преследователей. Снова раздались выстрелы, но как трудно попасть в бегущего! Я мчался берегом, у самой воды, к далекой деревне.

Я был теперь вне опасности. Некоторое время за мною еще гнались, но мне ли, взявшему приз в беге на олимпийских играх, бояться любителей? Моей скорости могли бы позавидовать автомобиль и верблюд. Через минуту я пошел шагом, переводя дыхание и оборачиваясь; на светлом песке неправильным треугольником, замедляя шаг, трусили мои враги.

Еще немного – и они остановились, повернули, ушли. Я не сердит – я жив, – а если бы умер, мне тоже не было бы времени рассердиться. Грустно опустив голову, я шел скорым шагом к деревне, проголодавшийся, мечтая о молоке, свежей рыбе и размышляя о Таурене. От телятины погибла идея.

Загадка предвиденной смерти

I

Чудовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергайля; он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним, как ощущение и мысль, – в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка – толщину шеи.

Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, мучительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощущение взрыва мозга, паралич отделенных от головы, но чувствуемых еще некоторое время конечностей, – и забвение – подобного, созданного силой воображения, точного знания казни Эбергайль достиг не сразу. Постепенно, ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергайль нащупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых, подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. Итак, он получал сначала бессвязные, противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но, упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно: шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя – в каждом из этих воображаемых состояний – мысленному удару топора, и делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинало, как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно, правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшем им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти.

Накануне казни, встав рано, Эбергайль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками, сзади, из-под затылка, со всей болью представления об этом, и, поборов, таким образом, физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиленный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятому, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара, – Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но, если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, исчезала отчетливая подробность и ясность ужаса, – Эбергайль падал духом. Страх, тяжкий, как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для него нестерпимо; он хотел знать.

Под вечер Эбергайля посетил ученый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщовом кол-

паке и таком же халате; незабываемое, – хотя, по внешности, обыкновенное, – лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз – завтра утром, и то, – в случае ясной погоды.

«Его мозг в огне», – подумал Коломб.

Эбергаиль действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Коломбе и вспыхнули: он увидел еще одну шею, в которую без труда сунул топор.

– Во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы, – кротко сказал Коломб, – это, может быть, развлечет вас.

– Развлечет, – сказал Эбергаиль.

– Как вы совершили преступление?

– Два выстрела.

– Нет, – пояснил Коломб, – мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью?

– Да. Я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены в увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: «а-га!», и он попятится, затем упадет сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избежать новых выстрелов, но, падая, умрет через пять секунд. Все произошло именно так; некоторое актерство в его падении я заметил потому, что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая; и знал, что делает.

– О чем думали вы эти дни?

– О шее и топоре.

– А сегодня? – записывая, сказал Коломб. – Сегодня вы думали, мой друг, конечно, о количестве времени, остающемся вам, не так ли?

– Нет. О топоре и шее.

– А сейчас?

– О топоре и шее.

– Можете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора?

– Нет, – злорадно сказал Эбергаиль, – я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора.

II

На рассвете спавший Эбергаиль вскочил, дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. Его разбудил долгий звон ключа. Он тотчас, пока еще не открылась дверь, выхватил из окрашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь: точное переживание удара по шее – и замер, окаменев. Вошел начальник тюрьмы, без солдат, и тотчас же притворил дверь.

– Успокойтесь, – сказал он. – Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но, жалея вас, пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Эбергаиль.

– Я или Эбергаиль? – спросил тот, хитро прищуриваясь.

– Вы, Эбергаиль.

– Я, Эбергаиль. Очень хорошо. Дайте пить.

Он поднес кружку к губам и расхохотался в воду, так что расплескал все.

– Церемония экзекуции, – сказал начальник тюрьмы, – будет выполнена вся, но топор не опустится.

– Не?!. – спросил Эбергаиль.

- Нет.
- Опустится или не опустится?
- Не опустится.

Он хотел прибавить еще несколько слов о необходимости предсмертной «игры», но Эбергаиль вдруг упал на колени и поцеловал его сапог, и поцелуй этот был тяжел от счастья, как удар молотом.

Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными – от крови губ Эбергаиля, губ, не пожалевших себя.

Эбергаиль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полон мгновением, хотел думать о нем, но не мог, потому что внезапная слепота мысли – результат потрясения – сделала его счастливым животным. Бешеный восторг, подобно разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергаиль тонул в нем. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе, – до огней в доме и сумеречных звезд неба. И мысль вернулась к нему.

– Да! Ах! – сказал Эбергаиль. – Славная, милая каторга! Я буду на каторге, буду жить! Как хорошо работать до изнурения! Хорошо также волочить ядро, чувствовать себя, свою ногу, живую! Замечательное ядро. Рай, а не каторга!

Снова загремел ключ, и Эбергаиль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он, как мог, потрясенным, но покорным судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой, азартной толпы к месту казни. Эбергаиль слышал, как кричали: «Убийца!» и радостно повторял: «Убийца». Он ласково подмигнул кричавшим ругательства и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора.

III

Взойдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергаиль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжелой игры. Плаха в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядела совсем не безобидно, и это, хотя не смутило Эбергаиля, но поразило его совпадением с его собственным, точным представлением о ней, – в вопросе о шее и топоре. Возле плахи, на небольшой скамье, в раскрытом красном футляре блестел топор, и Эбергаиль сразу узнал его. Это был тот самый топор полумесяцем, с круглой дубовой ручкой, который вчера утром невидимо рассек ему шею.

Эбергаиль невольно снова соединил в уме три вещи: поверхность плахи, свою шею и острое, входящее в дерево сквозь шею; он убедился благодаря этому, что точное знание сложного в своем ужасе истязания осталось при нем. Тотчас же, с присущей ему живостью и неопикуемой силой воображения создал он новое знание – знание отсутствия удара, и стал слушать чтение приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке.

Лицо палача, заурядное своей грубостью, ничем не выделившей бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергаиля; в лице этом, благодаря власти безнаказанно, при огромном стечении народа, днем, отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования.

За пустым пространством вокруг эшафота смотрела на Эбергаиля тихо дышащая толпа.

Палач подошел к Эбергаилю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал:

– Господин Эбергаиль, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз, сами же станьте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный, плоский удар.

Эбергайль стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу, под его глазами, был шероховатый, свежий настил с небольшой щелью меж досок. Он слышал запах дерева и зелени.

Голос сзади сказал:

– Палач, совершайте казнь.

Не видя, Эбергайль знал уже, что в следующее мгновение топор поднят. Он ждал, когда ему прикажут встать. Но все молчали, и он продолжал стоять в своей неудобной позе минуту, другую, третью, ясно чувствуя течение времени. Молчание и неподвижность вокруг продолжались.

«Тогда ударит, – мертвея, подумал Эбергайль. – Меня обманули».

Страшная тоска остановила его хлопающее по ребрам сердце, и точное знание удара неудержимо озарило его. Он судорожно глотнул воздух, чувствуя, как, после пробежавшего по всему телу огненного вихря, шея его стремительно вытянулась и голова свесилась до помоста; затем умер.

Человек в перчатках, приподняв топор, услышал:

– Остановитесь, палач. Казнь отменяется.

Палач опустил топор к ногам. Через мгновение после этого голова Эбергайля, продолжавшего неподвижно стоять у плахи, отделилась от туловища и громко стукнула о помост под хлынувшей на нее из обрубка шеи, фыркающей, как насос, кровью.

– Палач ударил, – сказал Консейль.

Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял фельетониста за пуговицу жилета.

– Палач не ударил. – Он поднял руку вверх, изображая движение топора. – Топор остановился в воздухе вот так, и, после известных слов прокурора, описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду.

– В таком случае...

– Голова упала сама.

– Оставьте мою пуговицу, – сердито сказал Консейль. – Теперь, действительно, будут спорить, сама или не сама упала голова Эбергайля. Но если вы оторвете пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно.

– Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Эбергайля...

– Да, но вы академик.

– Оставим это, – сказал Коломб. – Очевидность часто говорит то, что хотят от нее слышать. Эбергайль – великий стигматик.

– Прекрасно! – проговорил, выходя из кофейни, через некоторое время, Консейль. – Я осрамлю вас завтра, Коломб, в газете, как восхитительного ученого! А, впрочем, – прибавил он, – не все ли равно – сама упала голова или ее отсекли? И что хуже – рубить или заставить человека самому себе оторвать голову? Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придется хорошо подумать об этом.

Лунный свет

I

Пенкаль стоял на пороге кузницы, с тяжелой полосой в левой руке и, заметив приближающегося Брайда, приветливо улыбнулся.

Был солнечный день; кузница, построенная недавно Пенкалем из золотистых сосновых бревен, сияла чистотой снаружи, но зато внутри, как всегда, благодаря рассеянному характеру владельца представляла пыльный железный хаос. Брайд брякнул принесенным ведром, пожал руку Пенкаля и сел у входа, широко расставив колени. Его шляпа, сдвинутая на затылок, открывала умный лоб; маленькие внимательные глаза с любопытством рассматривали Пенкаля.

– Вы можете его починить, Пенкаль? – сказал наконец Брайд, оборачивая ведро дном кверху. – Оно продырявилось в двух местах, следовало бы положить заплатки, но, может быть, вы знаете и другой способ?

– Хорошо, – ответил Пенкаль. Взяв ведро из рук Брайда, он мягко швырнул его в кучу ломаного железа, потом поплевал на руку, готовясь раздуть тлеющее горно. Брайд вошел в кузницу.

– Поздно вы принимаетесь за работу, – сказал он, пытливо осматривая все углы закопченного помещения. – А у нас вчера была ваша жена, Пенкаль.

Кузнец шумно опустил мех, и воздух загудел в горне ровными вздохами, осыпав кузнеца дождем искр. Брайд переждал минуту, рассчитывая, что Пенкаль откликнется «на жену» и тем подвинет разговор к вопросу, интересующему поселок. Но Пенкаль пристально смотрел на огонь.

– Она побыла немного и ушла, – смущенно продолжал Брайд. – Вид у нее был нельзя сказать, что хороший.

– Ну? – сказал Пенкаль. – Ведь она ходит к вам каждый день.

Брайд принял решение.

– Она жаловалась на вас, что вы... кажется, у нее были заплаканы глаза... Что такое семейная история? Та, где нет дела третьему? Этого я не одобряю. Конечно, если мне что-нибудь говорят – я слушаю, но придавать значение... это не мое дело. Разумеется, говорю я себе, у них были причины. Какие? Мне этого знать не нужно. Пусть живут люди, как им живется. Не так ли, Пенкаль?

– Верно, – сказал кузнец.

Брайд разочарованно поймал муху и грустно бросил ее в горно. Скрытность Пенкаля казалась ему излишней и неприличной осторожностью. Что скрыто за этим покусыванием усов? Но, может быть, все пустяки?

Наступило молчание. Пенкаль бил молотком железо, изредка останавливаясь, чтобы поправить падающие на лоб прямые черные волосы. Когда полоса остыла, кузнец сунул ее в печь и спросил:

– А видели вы длинного кляузника Ритля? Сегодня ночью он катался на лодке, и я просто думаю, что его занесло течением дальше, чем следовало.

Брайд высморкался безо всякой нужды.

– Ну да, – принужденно сказал он, избегая взгляда Пенкаля. – Вот еще Ритль... Он проехал действительно подальше... вслед за вами... и легко могло показаться... Впрочем, это был всегда любопытный человек.

– Не думаете ли вы, что он дурак? – мягко спросил Пенкаль.

– Дурак? Пожалуй... – Лицо Брайда томительно напряглось, в то же время он подумал, что от Пенкаля вряд ли что выудишь.

– Он дурак, – сердито проговорил Пенкаль, – не мешало бы ему придерживаться вашего мнения: пусть люди живут, как им живется, а? Не правда ли?

– Да, да, – неохотно сказал Брайд. – Но я зайду к вечеру за ведром. Мне ведь не к спеху. Да, нужно еще починить изгородь.

Он встал, помялся немного и ушел, оглянувшись на низкую дверь кузницы. Она была вся освещена буйным огнем; в красноватом блеске двигалась сутулая фигура Пенкаля.

Кузнец стремительно двигал мех, стараясь физическим усилием побороть тяжелое раздражение. Да, еще немного – и все будут подозревать его неизвестно в чем.

Он улыбнулся; врожденной чертой его характера было ленивое отвращение ко всякого рода объяснениям и выяснениям. Не их дело.

Пенкаль кончил работу, закрыл дверь, умылся и медленно пошел домой, к куче неуклюжих зданий поселка. Навстречу, грустно улыбаясь осунувшимся, легкомысленным и красивым лицом, шла его жена; Пенкаль прибавил шагу.

– Здравствуй, коза, – сказал он, целуя ее в голову. – Я еще не был дома после этих двух суток, пойдем скорее, у меня разыгралась охота пообедать сидя против тебя. Клавдия! Подними рожицу!

Замявшись, женщина нерешительно обдергивала бахрому цветного платка, прикрывавшего ее молодые плечи, и вдруг заплакала, не изменяя позы. Пенкаль сдвинул брови.

– Это все чаще, Клавдия, – сказал он, заглядывая ей в глаза. – Ты подумай, есть ли хоть маленькая причина портить глазки? Потом... ты еще ходишь жаловаться на меня; это совсем скверно. Что я тебе сделал?

Женщина вытерла глаза, но они вновь оказались мокрыми.

– Ты сам виноват, Пенкаль, – проговорила она, мешая ноты упрека с горькими всхлипываниями, – почти месяц... каждый день... каждую ночь... Никто не знает, куда ты уходишь. Надо мной посмеиваются. «Пенкаль, – говорят, – о, он молодец мужчина!»... Что ты на это скажешь? Ты ведь ничего не говоришь мне. Раньше делали насчет тебя догадки... теперь говорят шепотом, а когда я вхожу, – молчат и странно смотрят на меня. Может быть, ты делаешь фальшивые деньги, милый... так скажи мне... Я не выдам, но... О, мне так тяжело...

Она умолкла; в ее беспомощно раскрытом рту и прямом взгляде сказывался наивный испуг. Пенкаль обнял жену за талию.

– Я гуляю, Клавдия, я хожу на охоту, – серьезно сказал он. – Ну, вот видишь, я говорю правду, а ты смотришь все-таки недоверчиво. Да, Клавдия, только и всего. Надо было мне сказать тебе это раньше. В самом деле, когда охотник приходит постоянно с пустыми руками... Но пойдем. Я попытаюсь успокоить тебя.

Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и стал спускаться с пригорка, продолжая говорить. Через сто шагов женщина успокоилась. Еще ближе к дому лицо ее выглядело просохшим и успокоенным, но в душе она, вероятно, немного подсмеивалась: вот чудак!

II

Береговой песок, залитый лунным светом, переходил в таинственное свечение сонной воды, а еще дальше – в торжественную, полную немых силуэтов муть противоположного берега.

Был полный разлив. Вода покрыла островки, мысы, огромные высыхающие к концу лета отмели, медлительная сила реки сгладила полуобнаженный остов русла – спокойный момент торжества, делавший лесную красавицу похожей на гигантскую объевшуюся змею.

Пенкаль остановился у кипарисов, сильно подмытых течением, зашлепал сапогами в холодной воде и быстро освободил лодку, привязанную к обнаженным корням деревьев. Пахло сырым, полным весенним воздухом. Опустив весла, Пенкаль различил легкие человеческие шаги и выпрямился.

Он повернулся. Низкий обрыв, изборожденный трещинами, мешал рассмотреть что-либо, но неизвестный предупредил Пенкаля и вышел из тени деревьев. Шагах в пяти от Пенкаля он остановился, заложил руки за спину и наклонил голову. Это был Ритль, торговец; в лунном свете хорошо обрисовывалось его длинное, с выпяченным животом туловище. Подстерегающий взгляд торговца назойливо обнял кузнеца, дрогнул и ушел в землю.

– Никак, вы собрались ехать? – подобострастно, но цепко спросил Ритль.

– А я почему-то думал, что вы спите. Вышел я, знаете ли, пройтись, приставал ко мне утром сегодня этот бродяга Крокис, все настаивал, чтобы я сделал скидку, и страшно меня расстроил. Другим он говорил: «Ритль упрям, но я возьму у него брезенты». Каково? Брезенты действительно принадлежат ему. Пойдет дождь, и товар подмокнет. Дернул меня черт положить на его совесть! Впрочем, вы заняты, а то я хотел ведь попросить у вас совета, Пенкаль. Вы, что же, испробовать новую винтовку? На взморье, говорят, появились лоси. Эх, в молодости и я был охотником!

Пенкаль опустил цепь и, не отвечая, хотел вскочить в лодку. Ритль подошел ближе.

– Какой вы, однако, скрытный, – произнес он, – ну, бог с вами. Честное слово, Пенкаль, если бы вы знали, как все заинтересованы вашим поведением!

Пенкаль усмехнулся. В первую минуту ему захотелось обругать Ритля, но, удержавшись от резких слов, он сообразил выгоду своего положения; можно внешне, страшным и удивительным для других образом исказить правду. Тогда, если и будут говорить о таинственных отлучках Пенкаля, то лишь в одном смысле.

– Ритль, – сухо сказал Пенкаль, – я всегда думал, что вы порядочный человек.

– Я?! – вскрикнул Ритль. – Не знаю, как понять это... но если...

– Вот, слушайте. Чего проще было бы мне сказать вам: Ритль, вы шпионили. Поддавшись бабьим пересудам и толкам бездельников, сующих нос в чужие дела, вы сегодня следили за мной и видели, как я подошел к лодке.

– Никогда в жизни! – пылко вскричал Ритль.

– Шутник вы! Зачем мне и вам все эти брезенты? Подошли бы вы просто и сказали: «Пенкаль! Я чертовски любопытен, это большой недостаток, но что с этим поделаешь? Куда это вы ездите ночью и зачем? Со мной прямо делаются корчи, когда я подумаю, что вы имеете право что-то скрывать и не расскажете никому».

Ритль нерешительно раскрыл рот.

– Ну, что же... – путаясь, начал он. – В сущности... да ведь и не я один... как хотите...

– Да?! – сказал Пенкаль. – Если вы поклянетесь, что ни одна живая душа... поняли? Тогда я расскажу вам все, без утайки. Хотите?

Глаза торговца блеснули и приблизились к кузнецу.

– О! Пенкаль! – заорал он в восторге. – Я всегда стоял за вас горой! Провались я, если вы не лучший человек на свете! Разве я сомневался в вас, хотя бы одну секунду? Нет, право, вы очаровали меня!

– Поклянитесь, – сказал серьезно Пенкаль, вполне уверенный, что через полчаса клятва будет нарушена.

– Клянусь громами и моими доходами! – воскликнул Ритль. – Вы можете быть покойны. Я всегда вас считал особенным человеком, Пенкаль, и ваше доверие... да что там!

– Хорошо, – сказал Пенкаль. – Сядем.

Он сел, Ритль опустился рядом с ним на большой камень. Тени их резко чернели на воде. Пенкаль поглаживал колено правой рукой, как будто любуясь им; это движение было характерно для него в минуты сосредоточенности.

– Из глупости, – начал Пенкаль. – Из пустяка. Из обрезка крысиного хвоста сочиняются всевозможные истории. Так обстоит дело и со мной. Вот вы выслушаете меня и придете домой в полной уверенности, что совсем нечего было выдумывать о Пенкале легенды и расстраивать его глупую, еще доверчивую жену рассказами о том, что Пенкаль фабрикует в лесу фальшивые монеты или что он завел в городе трех любовниц... Не вы, так ваша жена. Нет? Тем лучше, тогда перейдем к делу.

Здесь нужно было загадочно улыбнуться, и Пенкаль сделал это, смотря прямо в глаза Ритля рассеянным взглядом кошки, усевшейся перед собакой на недостижимой вершине забора. Торговец выжидательно хихикнул; бледное лицо кузнеца и тишина лунной реки производили на него необъяснимо жуткое впечатление.

– Две недели назад, – продолжал Пенкаль, заботливо разглаживая колено, – я возвращался из города на этой вот лодке, но не рассчитал время и тронулся в путь, когда уже начинало темнеть. Дул сильный противный ветер, да и попал я в сильную полосу течения. Вы знаете, я не охотник выбиваться из сил, когда это не представляет необходимости, поэтому, завернув к Лягушачьему мысу, вытащил лодку на песок, развел огонь и устроил себе ночлег из свежих сосновых веток. Было совсем темно. Вы знаете, Ритль, что если долго смотреть в огонь, а потом сразу отвести глаза, то мрак кажется еще гуще. Представьте же мое удивление, когда, вдоволь насытившись видом раскаленных углей, я повернул голову и почувствовал, что светает. «Не может быть, чтобы наступило утро», – сказал я себе и вскочил на ноги. Но действительно было совсем светло. Я не могу подобрать название этому свету, Ритль, он был как дневной или яркий лунный, но без теней. Все было освещено им: спящая, молчаливая земля, лес, река, тихие облака вдали, – это было непривычно и странно. Я подошел к воде. Оставим описание того, что чувствовал я в это время; три слова, пожалуй, годятся сюда: страх, радость и удивление. Вода стала прозрачной, как воздух над деревенской изгородью, я видел дно, чистые слои песка, бревна, полужансенные черноватым илом, куски досок; над ними, медленно шевеля плавниками, стояли рыбы, большие и маленькие, сеть водорослей зеленела под ними, внизу, совершенно так же, как луговые кустарники под опускающимися к ним птицами.

Я отвернулся, подумав, что умираю и что это последний трепет воображения, потом увидел лес и вздохнул, а может быть, ахнул. Я никогда не видел леса таким прекрасным, как в эту ночь. Проникнутый тем же золотистым, неярким светом, он виден был вглубь на целые мили, – и это весной, в самом буйном цветении; стволы, чешуйки древесной коры, хвойные иглы, листья, цветы, даже маленькие – не больше булавки – самые нежные и тонкие побеги, – все это буквально соперничало друг с другом в необычайной отчетливости.

Пенкаль посмотрел на Ритля. Торговец несколько отодвинулся и сидел теперь на расстоянии четырех шагов.

– Поразительно, – пробормотал Ритль.

– Я лег на спину, – продолжал Пенкаль, – потому что был сражен и напуган. Костер слабо трещал вблизи меня. Я думал о том, кто зажег эту гигантскую лампу без теней, осветив спящую землю так, как мы освещаем комнату среди ночи. Мои соображения были бессильны. В этот момент он подошел ко мне.

– Он? – глухо спросил Ритль, мигая расширенными глазами.

– Да, он и маленькая полуголая женщина. Она крепко жалась к нему. Вид у нее был слегка дикий в этом странном капотике из кленовых листьев, но не лишенный кокетства, впрочем, вряд ли она сознавала, чего ей не хватает в костюме. Я имею некоторые причины подозревать это. Он же был одет и довольно курьезно: представьте себе человека, первый раз надевшего полный городской костюм, – естественно, что он не умеет себя держать. Так было и с ним:

тугие воротнички, должно быть, страшно утомляли его, потому что он беспрестанно вертел головой, а также вытаскивал манжеты из рукавов и по временам среди разговора пристально рассматривал свои запонки. Был он совсем маленького роста и показался мне застенчивым добряком. Женщина крепко держала его за руку, прижимаясь к плечу; изредка, когда он говорил что-нибудь, по ее мнению, неподходящее или лишнее, слегка щипала его, отчего он смущенно умолкал и грустно обращался к запонкам.

Я сел, они приблизились и остановились...

– Ого! – сказал Ритль, побледнев и ежась на своем камне. – Как вы могли выдержать?

– Слушайте дальше, – спокойно перебил Пенкаль.

– Вы спали, – сказал он, приседая как-то странно, словно его сунули под гидравлический пресс, – а я не знал. Нас разбудили, мы тоже спали, но вот она испугалась... – Он посмотрел на женщину. – Сегодня утром, видите ли, прошел этот... ну, вот, хлопает по воде, коробочкой, постоянно горит. Да, так она не выносит этого железного крика, хотя многие утверждают, что он поет недурно, и только дым...

– Пароход, – сказал я.

Он прищурился и посмотрел на меня пристально.

– Да, вы так говорите, – согласился он, – все равно. И она дрожит целый день. Я кормил ее, сударь, уверяю вас, она кушала сегодня и расстроилась совсем не потому, что она голодна... но она не может... Как только этот па... или что-то такое, так и история.

Женщина тихонько ущипнула его за ухо, и он сконфузился.

– Знаете! – воскликнул он с жаром, вдоволь повертев свои запонки. – Мы ушли бы отсюда, но... нам совершенно не с кем посоветоваться. Все, как и мы, ничего не знают. Говорят, правда, что вверх по реке есть тихие области, где нет этих... вообще беспокойства, – а я не знаю наверняка.

В свою очередь, я пристально посмотрел на него. Глаза его очень переменчивого цвета напоминали лесные озера в разное время дня; они то тускнели, то разгорались и переливались всеми цветами радуги.

– Там города, – продолжал он, показывая рукой к морю и ежась, как от сильного холода. – Они строятся из железа и камня. Я не люблю этих... ну, как их? До... до...

– Домов, – подсказал я.

– Вот именно. – Он, казалось, чрезвычайно обрадовался, что я так быстро помогаю ему. – Да, домов... но как, вверх по реке, есть эти штуки?

– Семь городов, – сказал я. – И много строится новых.

Он был сильно озадачен и долго сидел задумавшись. Потом засмеялся, тронув меня за плечо, с довольной улыбкой мальчика, поймавшего воробья.

– Вот что, – произнес он, – камень и железо – правда?

– Конечно.

– Ну, так они их не достанут. Здесь нет камня и железа до самых гор. Они останутся в дураках.

Я улыбнулся.

– А эти, – сказал я, – коробочкой?

– Па-рра-ходы? – с усилием произнес он и опечалился. – Вы думаете?

– Без сомнения.

Пока он переваривал этот новый удар, женщина внимательно водила пальцем по коже моего сапога, отдергивая свою нежную руку каждый раз, когда я шевелил ногой.

– Тогда мы уйдем, – полувопросительно сказал он. – Нет никакого расчета оставаться здесь. И все уйдут. Леса опустеют. Я слышал, что не будет лесов и даже травы? Куда-нибудь да уйдем.

Мне стало жалко их, Ритль, этих маленьких лесных душ; но чем я мог им помочь?.. Я горевал вместе с ними. Так сидели мы втроем, молча, среди живой тишины, в кротком, печальном оцепенении.

– Я слышал еще, – виновато сказал он, – что будто дело произойдет так: везде будет железо и камень, и парра-ходы, и ничего больше. А потом они снова захотят жить с нами в близком соседстве; устанут, говорят, они от этого... элек...

– Электричества.

– Да, да. Ну, так мы пока можем побыть и в изгнании. Как вы думаете насчет этого?

В этот момент я услышал тихий и ровный плач; он напоминал шелест падающих сосновых шишек.

– Ну, – сказал он, – так усни. Чего же плакать?

Женщина продолжала рыдать на его плече. Из ее маленьких, светлых глаз катились быстрые слезы.

– Я хочу спать, – твердила она, – а надо опять идти... идти...

Он повернулся к ней, и оба растаяли, затрепетали прозрачными силуэтами на освещенном песке, затем исчезли. Я встал, Ритль; было темно, костер шипел мокрыми от росы сучьями.

После этого я встречал их каждую ночь. Они приходили и исчезали, но между жалобами от них можно было узнать многое о их жизни. Я это делаю – беру лодку и еду. Вчера мы обсуждали, например, скверные черты в характере волка. Вы видите...

Пенкаль повернулся. Камень был пуст; вдали замирали быстрые шаги Ритля.

«Я напугал его, – подумал молодой человек, – теперь он считает меня бесноватым или – что все равно – приятелем самого черта. Но я, кажется, сам позабыл о его присутствии. Это ведь лунный свет...»

Он не договорил и посмотрел вверх, где чистая луна сочиняла ему сказку о его собственной замкнутой и беспредельной душе. Затем, обойдя лужи, Пенкаль сел в лодку, толкнул веслом заскрипевший песок и растворился в прозрачной мгле.

III

– Где же его искать?

– В аду.

– Без шуток, говори, куда держать?

– Держи пока прямо. А потом – на свет.

После мгновенного замешательства, вызванного коротеньким диалогом, весла заработали так быстро, что рулевой качнулся назад. Несколько минут прошло в совершенном молчании, затем тот, кто рекомендовал отправиться в ад, глухо проговорил:

– Темно. Подлей масла в фонарь, Син; он гаснет.

– Я предлагаю вернуться, – заявил Паск.

– Вернись, – ответил с недобрый оттенком в голосе мрачный человек. – По воде ты дойдешь до берега, а там сядешь в лодку.

Остальные захохотали. Смех их показал шутнику, что слова его немного смешны, и он засмеялся после всех сам, совершенно несвоевременно, потому что в этот момент Энди ушиб себе ногу веслом и застонал с кроткой яростью ангела, проворонившего пару приличных душ.

– Луна скрылась, – сказал Паск, – и очень кстати. Кружись до утра, Льюз.

– Нет, – сказал мрачный человек, названный Льюзом, – дело должно быть сделано. Я хочу посмотреть дьявольские игрушки Пенкаля... или запою песенку под названием: «Ритль, береги ребра!», а то...

Он стих и погрозил кулаком зюйд-весту. Четыре силуэта мужчин, обведенные каймой борта в тусклом свете дымного фонаря, плыли над водой, усиленно загребая веслами. Паск спросил:

– Возможны ли такие шутки?

– То есть мы – дураки, – скорбно поправил Льюз. – Не мешало бы воротиться и расспросить Ритля, а? – Льюз дернул рулем. – Я мог бы рассказать вам, – проговорил он, – как один человек... какой – все равно, зашел на кукурузное поле.

Прошло пять минут, пока Син осведомился, чего ради этот несчастный подвергся такой странной участи.

– Он утонул, – задумчиво пояснил Льюз, – и утонул потому, что это было не кукурузное поле, а озеро. Поняли?

Кто-то вздохнул. Энди повернул голову.

– Огонь влево, – сказал он, переставая грести.

Нетерпеливое, отчасти жуткое ожидание достигло крайнего напряжения. Льюз направлял лодку. Слева под лесом, у большой песчаной косы трепетал красный огонь костра. Маленький, одинокий, он тихо манил парней; может быть, там сидел Пенкаль.

Без команды, словно по уговору, Син, Энди и Паск бережно загребли веслами, словно не вынимая их из воды, отчего лодка бесшумно, как окрыленная, скользнула к земле и остановилась, толкнувшись о подводные кряжи.

– Ну, выходи, – смущенно проговорил Льюз.

Все двинулись кучкой, молча, подавленные тишиной и предчувствием разочарования. Пенкаль сидел на корточках у огня; в котелке, повешенном над угольями, что-то шипело и булькало; смеющиеся глаза вопросительно остановились на Льюзе.

– Вот погреемся! – неестественно сказал Син, избегая глядеть на кузнеца.

Льюз мрачно улыбнулся, присев боком к огню; Паск остановился в отдалении; Энди для чего-то снял шапку и подбросил ее вверх.

– Так вы прогуливаетесь, – сухо сказал Пенкаль.

– Мы? – спросил Энди. – Да... мы... ехали и... увидели этот огонь... но... Льюз потерял спички... и вот... понимаете... курить захотелось... Верно я говорю, Льюз? Ну... мы и того... Здравствуйте!

Котелок покачнулся. Серая пена заструилась в огонь, чадя и всхлупывая на угольях. Пенкаль бросился снимать варево, поддел котелок палкой и бережно поставил на землю.

– Это суп, – сказал он. – Хотите?

Четыре человека недоверчиво переглянулись и протянули Пенкалю руки.

– Прощайте! – сказал Энди. – Мы должны ехать: нам нужно... Льюз, закури трубку.

Льюз сделал это, подпалив усы, так как дрожали руки, и затем все удалились, переговариваясь вполголоса о таинственных, недоступных для глаз их, лесных жителях.

Когда их фигуры, раскачиваясь, ушли во мрак, – из-за туч выглянула луна и затопила тревожным блеском далекую линию противоположного берега.

Зурбаганский стрелок

I. Биография

Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, из коих годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием.

Мой дед, лишившись рассудка на восьмидесятом году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку, единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни омрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать, когда мне было семнадцать лет, ушла в монастырь; как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех, требующих постороннего внимания, случаях. В общих, отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом, скажу лишь, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и т. п. играм, требующим весьма небольшого числа одинаково настроенных соучастников, – рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутый, сосредоточенный и недоверчивый. Мой отец был корабельный механик; я видел его не часто и не подолгу – он плавал зимой и летом. Кроме весьма хорошего заработка, отец имел небольшие, но существенные по тому времени деньги; мать же, которую я очень любил, редко выходила из спальни, где проводила вечера и дни за чтением Священного Писания, изнурительными молитвами и раздумьем. Отец иногда бессвязно и нежно говорил со мною, что бывало с ним в моменты сильного опьянения; как помню, он рассказывал о своих плаваниях, случаях корабельной жизни и, неизменно стуча в конце беседы по столу кулаком, прибавлял: «Валу, все они свиньи, запомни это».

Я не получил никакого стройного и существенного образования; оно, волею судеб, ограничилось начальной школой и пятью тысячами книг библиотеки моего товарища Андрея Фильса, сына инспектора речной полиции. Фильс был крупноголовый, спокойный и сильный мальчик, я же, как многие говорили мне, лицом и смехом напоминал девочку, хотя в силе не уступал Фильсу. Сдружились мы и познакомились после драки из-за узорных обрезков жести, в изобилии валявшихся вокруг слесарных портовых мастерских. В играх Фильс предпочитал тюремное заключение, плен или смерть от укуса змеи; последнее он изображал вдохновенно и не совсем плохо. Часто мы пропадали сутками в соседнем лесу, поклоняясь огню, шепча странные для детей, у пылающего костра, молитвы, сочиненные мною с Фильсом; одну из них, благодаря ее лаконичности, я запомнил до сего дня; вот она:

«Огонь, источник жизни! От холодной воды, пустого воздуха и твердой земли мы прибегаем к тебе с горячей просьбой сохранить нас от всяких болезней и бед».

Между тем местность, в которой я жил с матерью и отцом, была очень жизнерадостного, веселого вида и не располагала к настроению мрачности. Наш дом стоял у реки, в трех верстах от взморья и гавани; небольшой фруктовый сад зеленел вокруг окон, благоухая в периоде цветения душистыми запахами; просторная, окрыленная парусами, река несла чистую лиловатую воду, – россыпи аметистов; за садом начинались овраги, поросшие буками, ольхой, жасмином и кленом; старые, розовые от шиповника, изгороди пестрели прихотливым рисунком вдоль

каменистых дорог с золотой под ярким солнцем пылью, и в пыли этой ершисто топорщились воробьи, подскакивая к невидимой пище.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец сказал: «Валу, завтра ты пойдешь со мною на „Святой Георгий“; тебе найдется какое-нибудь там дело». Я не особенно огорчился этим. Мне давно хотелось уехать из Зурбагана и прочно стать собственными ногами в густоте жизни; однако я не мог, положа руку на сердце, сказать, что профессия моряка мне приятна: в ней много зависимости и фатальности. Я был настолько горд, что не показал этого, – я думал, что если отец тяготится мною, лучше всего уходить в первую дверь.

Мое прощание с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее. Она, прощаясь, сказала: «Валу, делай себе зло сколько угодно, но никогда, без причины, другим; сторонись людей». Мы приехали на катере к пароходу, и отец представил меня грузному человеку; этот человек, полузакрыв глаза, снисходительно смотрел на меня. «Примите его кочегаром, господин Пракс, он будет работать», – сказал отец. Пракс, бывший старшим механиком, сказал: «Хорошо», – и этим все кончилось. Отец, натянуто улыбаясь, отошел со мной к борту и стал рассказывать, как он сам, начав простым угольщиком, возвысился до механика, и советовал мне сделать то же. «Скучно жить без дела, Валу», – прибавил он, и это прозвучало у него искренне. Затем, пообещав прислать мне все необходимое – белье, одежду и деньги, – он сдержанно поцеловал меня в голову и уехал.

Так началась самостоятельная моя жизнь. «Святой Георгий» после шестимесячного грузового плавания попал в Китай, где, скопив небольшую сумму денег, я рассчитался. Меланхолическое настроение мое за это время несколько ослабело, я окреп внутренне и физически, стал разговорчивее и живее. Я рассчитался потому, что хотел попробовать счастья на материке, где, как я хорошо знал и слышал, для умного человека гораздо больше простора, чем на ограниченном пространстве затерянного в океане машинного отделения.

С врожденным недоверием к людям, с полумечтательным, полупрактическим складом ума, с небольшим, но хорошо всосанным житейским опытом и большим любопытством к судьбе приступил я к работе в богатой чайной фирме, начав с развески. Совершенствуясь и постигая эту отрасль промышленности, я скоро понял секрет всяческого успеха: необходимо сосредоточить на том, что делаешь, наибольшее внимание наибольшего количества заинтересованных прямо и косвенно людей. Благодаря этому, весьма элементарному, правилу я через пять лет стал младшим доверенным своего хозяина и, как это часто бывает, женился на его дочери, девушке с тяжелым характером, своевольной и вспыльчивой. Нас сблизило то, что оба мы были людьми замкнутыми и высокомерными; более нежное чувство оказалось крайне непрочным. Мы развелись, и после смерти отца жены поделили имущество.

Здоровый, свободный и богатый, я прожил несколько следующих лет так, что для меня не осталось ничего неизведанного в могуществе денег. Я часто размышлял над своей судьбой. С внешней стороны, по удачливости и быстро наступившему благополучию, судьба эта покрыла меня блеском, а из многочисленных столкновений с людьми я вынес прочное убеждение в том, что у меня нет с ними ничего общего. Я взвесил их прихоти, желания, стремления, страсти – и не нашел у себя ничего похожего на вечные эти пружины, и передо мной самым недвусмысленным образом встал дикий на первый взгляд короткий вопрос: «Как и чем жить?» – потому что я не знал, «как», и не видел, «чем».

Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели, в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым, – приводят к утомлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью – ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения; идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены: я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие, ее болезнь и карикатура; в отвлечении же она имела не

более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, томительное и лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека твердили мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была – отчаяние. Я искал ответа в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений; они знали не больше, чем я, и в мысли их таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных; слушал так, как слушают взволнованный голос признаний; твердил строфы поэтов, смотрел на гибкие, мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний, но в звуках, словах, красках и линиях видел только отчаяние; я открывал его везде, всюду, я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами.

В 189... году я посетил Зурбаган, где не был пятнадцать лет. Я хотел окончить жизнь там, откуда начал ее, и в этом возвращении к первоисточнику прошлого, после многолетних попыток создать радость жизни, была острая печаль неверующего, которому перед смертью подносят к губам памятный в детстве крест.

II. Зурбаган

Остановиться у родителей я не мог – они давно умерли, а в доме поселилась старуха, родственница отца, которую я менее всего хотел беспокоить. Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город; он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации – электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха, но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцообразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, – делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.

Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого Странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газет и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу, и яростно следил за действиями, восклицая: «Я это предвидел!» – или: «Совершенно правильная диверсия!» Между тем ходили слухи, что Брен отброшен к лесам Хассавера, и Зурбагану, если вторая армия не овладеет вовремя покинутыми позициями, грозит опасность вторжения.

Я вскозь думал обо всем этом, сидя у раскрытого окна с газетой в руках, текст которой, надо сознаться, более интересовал меня оригинальным размещением объявлений, чем датами атак и приступов. Эти объявления были тщательно подогнаны под упоминание в тексте о каком-либо предмете; например, сообщение об автомобильной катастрофе после слов «лопнули шины» прерывалось рекламным рисунком и приглашением купить шины в магазине X.

В дверь постучали. Я встал и сказал: «войдите», после чего, ожидая появления слуги, увидел высокого, с белым цветком в петлице, крупного, широкоплечего человека. Он, слегка нагнув голову, всматривался в меня с очень деловым, спокойным выражением худого лица. Я тоже пристально смотрел на него, пока оба не улыбнулись.

– Фильс! Валуэр! – разом произнесли мы, и этим наше удивление кончилось. Время сильно изменило товарища детских игр, виски его поседели, а глаза, с навсегда застывшим

выражением скупого смеха, обнажали над зрачком узкую полоску белка. Мы помолчали, как бы привыкая путем взаимного осмотра к тому, что от последней встречи до этой прошло много лет.

– Я прочитал твою фамилию на доске гостиницы, – сказал Фильс.

Мы сели.

– Как дышишь, Валу?

– Как попало, – сказал я. – А ты?

– Так же. – Он понюхал цветок и сморщился. – Отвратительный запах, сладкий, как муха в патоке. Слушай, Валу, давай спокойно, по очереди рассказывать о себе. Это, не в пример экспансивным возгласам, сократит нам время. Начинай ты.

Я стал рассказывать, а Фильс тихо покачивал головой и, когда я остановился, заметил:

– Я ждал этого: помнишь, Валу, еще мальчишками мы делились предчувствиями, уверенные, что наша судьба лежит в сторону зигзага, а не прямой линии. Вот что произошло со мной. Я был счастлив так, как могут быть счастливы только ангелы на небесах, и потерял все. В моем несчастье была какая-то свирепая стремительность. После смерти жены один за другим умирали дети, я я с огромной высоты упал вниз, искалеченный навсегда.

Он посмотрел на цветок, вынул его из петлицы и бросил в окно.

– Подарок девицы, – объяснил он. – Я вовсе ее не просил об этом, но старые привычки способны еще заставить меня из вежливости связать кочергу узлом.

Мы помолчали. Я думал о судьбе Фильса и наших пламенных молитвах огню об избавлении нас от всяких бед и несчастий, ясно представляя себе двух босоногих, серьезных мальчиков в тихом лесу, пытающихся, предчувствуя будущее, уйти от холода жизни к жарким вихрям костра. Но огонь потух, зажигать его снова не было ни сил, ни желания.

– Что же у тебя впереди? – спросил Фильс.

– Ничего, – сказал я, – и это без всякой жалобы.

Фильс кивнул головой, зевая так азартно, что прослезился. Расспрашивать далее друга было неинтересно и даже навязчиво; все, что еще могли мы сказать о себе, было бы повторением хорошо усвоенного мотива.

– Хочешь развлечься? – сказал Фильс. – Если хочешь, я покажу тебе забавные вещи.

– Где?

– Здесь, и не далее десяти минут ходьбы.

– Шуты? Клоуны? Акробаты?

– Совсем нет.

– Женщины?

– Если ты вспомнил про цветок, которым теперь уже наверное украсил себя первый поэтически настроенный трубочист, то это более выдает тебя, чем меня.

– Я сам женщина, – сказал я, – хотя бы потому, что нуждаюсь в них не более женщины. Какого сорта твои развлечения? Говори начистоту, Фильс!

– Так не годится, – кротко улыбнулся Фильс, и я в этой улыбке понял его характер более, чем в словах; он улыбнулся с выражением совершенной покорности. Я никогда не видел более выразительной и жуткой улыбки. – Не годится. Всякое приличное развлечение требует тайны и неожиданности. Что скажешь ты, если приготовления к зрелищу будут происходить на твоих глазах? Итак, сделайся неосведомленным зрителем. Я могу лишь, для усиления твоего любопытства, а косвенно – для некоторых наводящих размышлений, поведать тебе следующее: странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни; развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одиночество во взглядах, симпатиях и мировоззрении, и в то же время усилилась, как следствие одиночества, – тоска. Герой времени – человек одинокий, бессильный и гордый этим, – совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все

это напоминает внезапно наступившую, дурную, дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц, или, наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни – два полюса одного настроения – указывают на решительность и обдуманность; число самоубийств огромно. Простонародье осwirепело; насилия, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные и дикие, как сон тигра, дают хроникарам недурной заработка. Усилилось суеверие: появились колдуны, знахари, ясновидящие и гипнотизеры; любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом. Но есть люди без зонтика...

Пока он говорил, смерклось, на улице появились неподвижный свет фонарей, беглые тени, силуэты в окнах. Я слушал Фильса без удивления и тревоги, подобный зеркалу, равно холодному перед лицом гримасы и горя.

– Это понятно, – сказал я, – время от времени человека неудержимо тянет назад; он конфузится, но недолго; богатая коллекция столетий сидит в нем; так, собственник музея подчас пьет, не пытаясь даже объяснить себе – почему, – пьет кофе из черепа египетского сапожника.

– Зачем объяснения? – сказал Фильс. – Нам в нашей жизни они не нужны. Не так ли?

– Я согласен с тобой.

– Прими же мое приглашение. Я покажу тебе взамен старых зонтиков новый. Соблазнься, так как это заманчиво.

– Хорошо, – сказал я, – пойдем, и если еще есть на свете для меня зонтик, я, пожалуй, возьму его.

III. Для никого и ничего

Покинув освещенный подъезд гостиницы, я, и Фильс, взявшись под руку, спустились на улицу Гладиатора и шли некоторое время вдоль канала, соединяющего рукава реки. Здесь было мало прохожих, и я, всегда чувствующий неприязнь к толпе, находился в очень спокойном настроении. Вполголоса, так как оба не любили разговаривать громко, делились мы многими впечатлениями истекших пятнадцати лет. После жаркого дня холодный, сухой воздух ночи освежал голову, и все воспоминания были отчетливы. Через несколько минут Фильс заставил меня свернуть меж двух каменных заборов в небольшой переулок; у дальнего конца его мы остановились; передо мной была высокая, над каменными ступенями, дверь. Фильс поднялся и дернул ручку звонка. Очень скоро я услышал поворот ключа, и из неяркого света лестницы к нам в темноту нагнулась, с темным от уличного мрака лицом, большая голова на тонкой, костлявой шее. Вполне женским голосом эта голова спросила, дымя зажатою в зубах трубкой:

– Почему вы опоздали, милейший, и кто это с вами?

– Он может, – сказал Фильс. – Ну-ка, пропустите меня.

Мы вошли и стали подниматься по лестнице, а за нами шел хозяин большой головы, одетый в пестрый халат. Невольно я оглянулся и увидел назойливо, с непередаваемой рассеянностью устремленные на меня блестящие голубые глаза. Он смотрел так, как смотрят на карандаши или огрызок яблока.

До сих пор все текло обычным порядком, и я не видел ничего достопримечательного. По обыкновенной лестнице прошел я за Андреем Фильсом в маленький коридор; в самом конце его освещенными щелями рисовалось римское I закрытой двери, за нею слышались разговор, смех и свист. От Фильса мистификации я не ожидал и потому приготовился серьезно отнестись ко всему, что мне придется увидеть. Человек с большой головой, замыкая шествие, что-то сказал; думая, что это относится ко мне, я спросил:

– Что именно?

– А? – вяло отозвался он.

– Я говорю, что не расслышал, что вы сказали.

– А! – Он зашипел трубкой. – Я сказал «тру-ту-ту» и «брилли-брилли», – и, так как я, опешив, молчал, – добавил: – моцион языка.

Мне некогда было принять это в шутку или всерьез, потому что Фильс уже тянул меня за рукав, распахнув дверь. Я вошел и увидел следующее.

В большой, с плотно занавешенными окнами комнате стоял посредине ее маленький стол. Пол был покрыт старым ковром, у стен, на плетеных стульях, сидели четыре человека; еще двое ходили из угла в угол с руками, заложенными за спину; один из сидевших, держа на коленях цитру, играл водевильную арию; сосед его, вытянув ноги и заложив руки в карманы, подсвистывал весьма искусным, мелодическим свистом. Третий играл сам с собой в орлянку, подбрасывая и ловя рукой серебряную монету. Двое, расхаживающие из угла в угол, – громко, тоном спора говорили друг с другом. Шестой из этой компании, склонившись на подоконник, спал или старался уснуть. Когда мы вошли, Фильс сказал:

– Друзья, вот этот человек, который пришел со мной, – наш гость. Его зовут Валуэр. – Затем, обращаясь ко мне, продолжал: – Валу, представляю тебе ради забавы и поучения очень скромных и хороших людей, вполне достойных, благовоспитанных и приличных.

Нельзя сказать, чтобы я что-нибудь понял из всего этого. Раскланиваясь и пожимая руки, я с недоумением посмотрел на Фильса. Он подмигнул мне, как бы говоря: «Ничего, все будет ясно». Затем, не зная, что делать дальше, я отошел в угол, а Фильс сел за стол, послал мне воздушный поцелуй и стал серьезен.

Прежде чем рассказывать дальше, я должен изобразить наружность каждого члена собрания. Их имена были: Фильс, Эсмен, Суарт, Гельвий, Бартон, Мюргит, Стабер и Карминер. Фильса вы знаете. Эсмен, с толстой нижней губой, небольшим, но округлым брюшком и кривыми ногами, напоминал гордого лавочника. Суарт, человек приблизительно сорока лет, был слеп и мужественно красив; темные очки на его безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Высокий, сутуловатый Гельвий имел тонкие, бескровные губы, длинные, медного цвета, волосы, серые глаза и высоко поставленные, монгольские брови. Бартон, с короткой, бычьей шеей, сильным дыханием, усталым, багровым лицом, пухлыми от пьянства глазами, грузный, неряшливо одетый, был совершенной противоположностью женственному, пепельному блондину Мюргиту, похожему на переодетую девушку. Певучая улыбка Мюргита дышала утонченным, ласковым вниманием. Стабер, вполне актер по наружности, избегал в costume обычных для этого сословия ярких галстуков и очень модных покровов. Наконец, Карминер, тот самый, что открыл дверь на улицу, был низкого роста; большой, умный и чистый лоб его давил маленькие голубые глаза и всю остальную миниатюрную часть лица, оканчивающуюся младенческим подбородком.

Но самым замечательным и общим для наружности всех этих людей были глаза. Их выражение не менялось: открытый, прямой и ровный взгляд их поражал неестественной живостью, затаенной иронией и (вероятно, бессознательным) холодным высокомерием. Я долго ломал голову, пытаюсь вспомнить, где и когда я видел людей с такими глазами; наконец вспомнил: то были каторжники на пыльной дороге между Вардом и Зурбаганом. Вырванные из жизни, в цепях, глухо звеневших при каждом шаге, шли они, вне мира, к бессмысленному труду.

Фильс тоном учителя произнес:

– Валуэр, в коротких словах я объясню тебе, кто с тобой в этой комнате. Я и все остальные, каждый по личным, одному ему известным причинам, образовали «Союз для никого и ничего», лишенный, в отличие от других союзов и обществ, так называемой «разумной цели». Первоначально нас было семнадцать человек, но те, кого не хватает здесь по числу, удалились вследствие неудачных опытов и более не придут. Мы производим опыты. Цель этих опытов – испытать, сколько дней может прожить человек, пускаясь в различные рискованные предприятия. Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами то же, что маляр перед Лувром.

Отвага, решительность, самообладание, храбрость – все это для нас пустые и лишние понятия, об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безрукого; ничего этого у нас нет, есть только спокойствие; мы работаем аккуратно и хладнокровно.

Единодушные аплодисменты залпом грянули в комнате. Фильс корректно раскланялся, а я хорошо понял сказанное им, но для выражения этого понимания нет сильных и стройных слов; я словно заглянул в белую, дымчатую пустоту без дна и эха.

– Прилично взвешено, – сказал толстый Бартон.

– Слог и стиль, – подхватил Эсмен.

– Венчать его крапивой и розгами, – отозвался Гельвий.

– Перехожу к моей выдумке, – сказал Фильс. – На заводе Северного Акционерного Общества есть паровой молот весом в шестьсот пудов, делающий в секунду с четвертью два удара. Я предлагаю, установив эту скорость движения, прыгать через наковальню с завязанными глазами.

– Пыль и брызги! – расхохотался Стабер. – Недурна выдумка, Фильс, но кто же нас пустит к молоту? Нам просто дадут по шее.

– Деньги пустят, – сказал Фильс. – Зачем нам деньги?

– Мы это обсудим, – решил Карминер. – Давайте отчет.

– Да, отчет, давайте отчет! – заговорили вокруг стола, усаживаясь на стульях.

– Три месяца хожу, а каждый раз интересно, – сказал, облизываясь, Эсмен.

Фильс вынул из ящика стола лист бумаги. С карандашом за ухом, деловито поджатými губами и бесстрастным взглядом он напоминал аукционного маклера.

– Говорите, – сказал Фильс. – Ну, вы первый, что ли, Карминер.

– Я, – заговорил ворчащим голосом Карминер, – играл с бешеной собакой около бойни.

– Что вышло из этого?

– Укусила она меня.

– Прививку будете делать?

– Нет.

– Хорошо. Но лучше вам недели через три застрелиться.

– Я утоплюсь.

– Дело ваше. Свидетели кто?

– Два мясника, – Леер и Саваро, Приморская улица, Э 16.

Болезненный, неудержимый смех готов был вырваться из моей груди при этом лаконичном диалоге, но я быстро подавил его. Лица членов собрания остались невозмутимо серьезны, даже торжественны.

– Мюргит, – сказал Фильс, – вы как?

– Почти ничего, – простодушно ответил юноша, краснея. – Я только обошел перила речной башни.

– Свидетели?

– Стабер и полицейский Гунк.

– Эсмен, вы?

– Я, – сказал Эсмен, – увлекся мелким спортом. Я останавливал спиной трамвай и автомобили. Ни один не переехал меня.

– Это и видно, – заметил Фильс, улыбаясь мне. – Свидетели?

– Трое мальчишек-газетчиков ЭЭ 87, 104 и 26.

– Стабер!

– Была дуэль. Я стрелял вверх, а враг мимо в двадцати шагах.

– Свидетели?

– Капитан Хонс, полковник Риго и врач Зичи.

– Бартон!

– Вчера, – загудел Бартон, – я выплыл через пороги у Двухколенного поворота при низкой воде и прибыл к Новому мосту уже без весел. Свидетели: хроника газеты «Курьер».

– Почтенно, – сказал Фильс. – Ну, а вы, господин Суарт?

Слепой поднял голову, направляя стекла очков мимо лица Фильса.

– Я, – тихо заговорил он, – выпил из трех стаканов один: два были с чистым вином, а третий с не совсем чистым.

– Свидетели?

– Мой брат.

– Теперь Гельвий.

– Я ничего не делал, – сказал Гельвий, – я спал. И видел во сне, что ем хлеб, вымазанный змеиным ядом.

– Свидетелей не было, – кратко заметил Фильс. – А я, господа, повторил несколько раз вот что, – Фильс показал револьвер. – Он на шесть гнезд. Я вкладывал один патрон, поворачивал барабан несколько раз и спускал курок, держа дуло у виска. Именно это я хочу сделать сейчас.

– Если не будет выстрела – только чикнет, – заметил Эсмен.

– Да, чикнет, – спокойно возразил Фильс, – но ведь это интересно мне.

– Разумеется, – подтвердил Гельвий. – Ну, покажите!

Как ни был я равнодушен к своей и чужой жизни, все же последующая сцена произвела на меня весьма неприятное впечатление. Фильс, под внимательными взглядами членов оригинального союза, сунул в блестящий барабан револьвера один патрон, перевернул барабан быстрым движением руки и взял дуло в рот. Не желая быть смешным, я воздержался от всякого вмешательства, хотя несколько волновался. Глаза всех были устремлены на движения пальцев правой руки Фильса; он сдвинул брови, как бы сосредоточиваясь на чем-то важном и известном только ему, затем кивнул головой и нажал спуск.

Правда, был лишь один шанс против пяти, что безумец разmozжит себе череп, но я почему-то приготовился именно к этому, и напряжение мое, встретившее, вместо ожидаемого – по чувству нервного сопротивления, выстрела – металлический спуск курка, – осталось неразрешенным. Неожиданно меня потянуло сделать то же, что сделал Фильс, отчасти из солидарности; но в большей степени толкнул меня к этому острый зуд риска, родственного неудержимому стремлению некоторых людей переходить трамвайные рельсы почти вплотную к пробегающему вагону. Пока члены союза критиковали выходку Фильса, находя ее, в общем, мало эффектной, хотя серьезной, я, выбросив из своего револьвера пять патронов и перекрутив барабан, сказал: – Фильс, мы всегда ведь играли вместе, посмотри, что будет со мной.

– А?! – сказал Фильс печально. – Тебя тоже знобит! Хорошо; прощай или до свидания.

Я закрыл глаза и, невольно холодея, нажал спуск. Курок щелкнул возле уха отвратительным звуком; я опустил руку, поморщившись. В забаве был скверный цинизм.

Никто не повторил за мной этого опыта, и разговор после некоторого молчания стал общим. Через полчаса Карминер прочел нам коротенькую диссертацию о «Законах Мертвого Духа», а Бартон затеял с Гельвием спор о гашише; Гельвий сказал: – Гашиш плюс я – другой человек. Я желаю быть я. – Бартон возразил: – Я же не хочу этого, я надоел себе. – Устав, я условился с Фильсом относительно следующего нашего свидания.

– Что же, – сказал на пороге Фильс, – как зонтик?

– Зонтик, – заметил я, – странноват, – да. Но лучше смолчим. Я уйду без сожаления; вкусы различны.

– Так, – сказал он, прощаясь, – к этому не привыкнешь сразу. – И я вышел на улицу.

IV. Астарот

Вернувшись к себе, я понял, что не усну. Перед моими глазами, сменяясь одно другим, всплывали из темноты, беззвучно говоря что-то, лица членов союза; в выражении глаз их, смотревших на меня, не было ни участия, ни доброжелательства, ни усмешки, ни вражды, ни печали; полное равнодушие скуки отражали эти глаза и совершенное безучастие. Станные, на первый взгляд, поступки имели для них, в силу болезненного отношения к жизни, значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливающийся по парапету башни; Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах; Фильс с револьвером у виска – все это, по-видимому, бессознательно, поддерживало угасающее любопытство к жизни; охладев к ней, они могли принимать ее, как врага, только в постоянных угрозах. Люди эти притягивали и отталкивали меня, что можно сравнить с толпой бродячих цыган на бойкой городской улице: смуглые чуждые лица, непонятный язык, вызывающие движения, серьги в ушах, черные волосы и живописные лохмотья останавливают внимание самых прозаических, традиционно семейных, людей, и внимание это не лишено симпатии; но кто пойдет с ними в табор? Индивидуальность противится выражению самых заветных ее порывов в форме, для нее несвойственной, и та же цыганщина, задевшая сердце скромного человека, найдет выход в песне или разгуле.

Глубоко задумавшись, просидел я, не зажигая огня, до рассвета, когда, посмотрев в окно, увидел перед воротами гостиницы серую верховую лошадь под высоким седлом и слугу, державшего ее в поводу. Через минуту из ворот вышел человек.

Я не могу отказать себе в удовольствии описать этого человека подробно. Человечество иногда выдвигает фигуры и лица, достойные глубокого зрительного анализа, без чего заинтересованный наблюдатель не всегда уяснит главное в поразившей его внешности; подобная внешность, лишенная оригинальности дурного тона, очень красноречиво и убедительно заставляет думать, что содержательность зрительных впечатлений не уступает книге; искусство смотреть для очень многих еще тот самый всемирный, но не изученный язык, о котором ревностно твердят нам эсперантисты.

Незнакомцу на взгляд было сорок пять – пятьдесят лет. Плечи его, хотя в остальном он не был ширококостным, угловатые и широкие, позволяли рукам висеть свободно, не прикасаясь к туловищу. Под черными волосами, составляющими как бы продолжение черной шапки, прятались уши; глаза сходились у переносья, линии костлявого носа и лба составляли одну прямую. Глаза резко освещали лицо... От висков до третьей пуговицы жилета струилась бараньим мехом черная борода. В лице вошедшего, именно, – все струилось; другим выражением я неточно определил бы то общее, что есть в физиономии каждого человека; упомянув уже об отвесной линии лба и носа, я перейду к остальным чертам: опущенные углы бровей, глаз и рта с твердой линией губ; падающие в бороду усы; волосы, выбивающиеся из-под шапки и дающие, благодаря густоте, подлинную иллюзию тяжести, – все струилось отвесно, подобно скованному льдом водопаду. Незнакомец был одет в черную суконную блузу, серый, поверх блузы, жилет с синими стеклянными пуговицами, кожаные брюки и сапоги на толстых подошвах; единственной роскошью были серебряные шпоры с глухо звеневшими колесцами.

Рассматривая этого человека, я невольно позавидовал ему. Мне предстоял день убийственного безделья; он же, вероятно, собирался делать хорошо известное, нужное для него дело и был поглощен этим. Смутное решение зародилось во мне, скорее – представление о движении, в котором, как всегда, я находил некоторое рассеяние. Я думал, что мои нервы требуют настоящего утомления. Продолжая обдумывать это, я позвонил и спросил заспанного слугу о неизвестном всаднике. – Это охотник, – сказал слуга, презрительно посмотрев в окно, – дикий и необразованный человек; он, когда останавливается у нас, то спит в конюшне вместе со своей лошадейю.

– Очень хорошо, – сказал я. – Мне хочется поговорить с ним.

Слуга ушел. Прошло немного времени, и я, услышав шаги, открыл дверь. Охотник, сняв шапку, остановился на пороге, осматривая меня и мое помещение. Он не сказал ни слова, но, кончив беглый осмотр, встретился со мной взглядом и протянул руку.

– Астарот, – сказал он, и в его лице появилось выражение нетерпеливого ожидания.

– Что вы скажете насчет хорошей охоты?

– Доброе дело.

– Устройте мне это.

– Где?

– Где! – но вы должны лучше меня знать, «где».

– Я хочу сказать – близко или далеко от города? Чем дальше, тем лучше; если же вы любите стрелять уток, то это можно сделать в первом болоте.

– Я рассчитываю провести с вами три или четыре ночи, за что недурно вам заплачу.

– Что ж! – сказал Астарот после минутного размышления. – Выбирайте сами. По эту сторону гор я разыскал водопой; там найдутся козули, кабаны и козы. По ту сторону много медведей. Еще дальше, вокруг Чистых Озер, я находил бобров и лосей. Если вы легко устаете, лучше не забираться далеко, – дороги малоудобны.

– Возьмем хотя бы медведей.

– Как хотите.

– Сегодня?

– Да.

– Где? Потому что у меня еще нет ни лошади, ни ружья.

Астарот удивленно посмотрел на меня: ему, привыкшему иметь ружье и лошадь всегда, показался, наверное, странным человек, не позаботившийся своевременно обо всем нужном в пустыне.

– Тогда, – холодно сказал он, – я буду ждать вас у реки, в харчевне, на углу Набережной и Полевой улицы, но не долее двух часов дня.

На этом мы и покончили. Астарот уехал, а я, оставшись один, дал комиссионеру несколько поручений, и в полдень у меня было все нужное для похода. Испытав лошадь, я нашел ее выносливой, послушной узде и быстрой; это был четырехлетний гнедой жеребец с белой гривой и нервными, прекрасными глазами; когда его поставили в стойло, он лизнул меня языком по уху, а я сунул руку в мягкую гриву. Поговорив таким образом, мы расстались и выехали в четверть второго. Я не взял с собой ничего, кроме зарядов, штуцера, мешка с провизией и теплого одеяла. Проехав несколько улиц, я мысленно оглянулся, сдержав лошадь. «Не повернуть ли назад?» – твердила усталая мысль... Еще не выполнив случайной затеи, я готов был поддаться скуке и удовлетвориться лишь мыслью, что при желании мне ничего не стоит продолжать путь; остальное дополнялось воображением. В состоянии этом была своеобразная прелесть сознанного и мучительного равнодушия; однако, уступая логике положения, власти вещей и нетерпеливому шагу лошади, я, махнув рукой, подобрал поводья и выехал к реке рысью, разыскивая Астарота.

V. Горный проход Бига

Когда я зашел в указанную Астаротом харчевню, он благосклонно посмотрел на меня, сидя за огромным столом с кружкой вина. Против него, обернувшись при моем появлении, помещался невзрачный человек с застенчивым и скромным лицом, одетый почти так же, как Астарот, с той разницей, что вместо шапки с головы его свешивались концы туго обвязанного платка. Я подошел и сел к ним за стол.

– Ну, вот, – сказал товарищу Астарот, – видишь, он здесь! – Потом, указывая на застенчивого человека, объяснил мне: – Он, сударь, поедет с нами; его имя – Биг, это один из отважнейших людей, но он скромн и молчалив.

– Уж ты... скажешь, – краснея, пробормотал Биг унылым голосом. – Вот, честное слово, не люблю я...

Шутливое выражение лица Астарота исчезло, и он, торопливо прикончив кружку, поднялся.

– Биг, нам до заката не успеть в горы, – сказал он. – Выйдем – и марш.

Через кухню мы прошли на маленький двор, где, у коновязей, фыркали и взмахивали хвостами нетерпеливые лошади. Маленькая кобыла Бига исподлобья, как человек, смотрела на своего хозяина. Поговорив о моей лошади и сдержанно похвалив ее, оба охотника простым движением рук очутились в седле, что, несколько медленнее, сделал и я; затем, выехав на солнечную улицу, мы, миновав мост, погрузились в береговые, с высокой травой, луга, направляясь к синему венцу гор, похожему издали на низкие облака.

Держась рядом с Астаротом, я наблюдал спутников. Они были погружены в свои мысли и неохотно отзывались на мои случайные замечания.

Черные глаза Астарота, прячась от солнца, съезжились и ушли внутрь, а Биг, рассеянно смотря по сторонам, иногда улыбался и подмигивал мне, как бы желая сказать: «Так-то. Едем». Проехав луг, мы направились далее берегом небольшой речки, причем несколько раз пересекали ее вброд; вода, шумя у ног лошадей, обдавала нас брызгами. Трава заметно редела, переходя в унылую, душную степную равнину, поросшую высохшим кустарником; все чаще попадались серые каменистые бугры, овраги и трещины; от них пахло сыростью и землей; одинокие деревья имели сторожевой вид; холмы, растягиваясь подножиями в сотни сажен, вынуждали нас при подъеме сдерживать лошадей. Из-под копыт, вспыхивая дымком, летела сухая, бурая пыль, а горы, проясняясь, становились пестрыми от хорошо различаемых теперь неровных пятен лесов, но казались почти так же далекими, как от Зурбагана.

Следя за собой, я видел, что отдыхаю в седле душою и телом, как отдыхают от мучительной зубной боли, бегая по комнате. Вещей, о которых я мог бы последовательно и с интересом думать, у меня не было, но голую пустоту воображения и чувств успешно заполняли разные дорожные пустяки. Стремена Астарота, стертые от езды, заставляли меня машинально сообщать, сколько времени они ему служат; смотря на голову лошади, я думал, что мысли животных должны напоминать вечно ускользающий из клещей памяти сон. Камни напоминали мне о древности мира, а яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом земли, навеки осужденным без операции смотреть в лицо непонимающему его брату.

Так ехали мы час, и два, и три, и, наконец, унылая местность, достойная в сумрачный день служить вестибюлем ада, кончилась. Мы двигались в заросли, полной валежника, ям, пенных горных ключей и стволов, вырванных шквалом. Эти препятствия, живописные, но и надоедливые, заставляли коней идти шагом, и я не без удовольствия убедился в выносливости своей лошади.

– Лет восемь назад, – сказал мне Астарот, – нам не миновать бы потратить сутки на переход через горы. Самое удобное для этого место – шесть тысяч футов, где начинаются ледники. Но мы сделаем переход удачнее. Давно уже я и Биг прошли хребет этот, можно сказать, навывлет; мы теперь приближаемся к трещине, выходящей по ту сторону настоящим коридором; она попала нам, конечно, случайно, но это не помешало мне окрестить ее именем Бига, потому что он первый сунулся в дыру. Я, понятно, ехал за ним, и мы, к нашему удивлению, благополучно перебрались, миновав утомительные высоты.

– Ты же сказал, что не мешало бы исследовать щель, – возразил Биг.

– Прекрасно, не будем спорить.

Он нагнулся, присматриваясь к скалистым хрящам, обросшим кустарниками, и у одного из них повернул вправо. Я увидел нечто вроде узкой долины, стиснутой известковыми выступами; здесь росла густая и сырая трава, но далее картина неожиданно изменялась: лес расступился, трава исчезла, и в темной волне холмов обнаружилось резкое углубление с зубцом голубого неба вверху, – это и был проход Бига, как назвал его Астарот. Здесь все остановилось, и Биг стал советоваться с товарищем о месте привала. Поговорив, согласились они, что москиты не дадут спать в кустарнике и измучат лошадей; поэтому решено было пустить животных к ручью, а самим устроить привал в ущелье, а затем увести поевших лошадей к себе.

Астарот – впереди, за ним – Биг, и я – сзади углубились в расселину, оставив лошадей без привязи пастись у ручья; я был спокоен за свою лошадь, зная, что она не уйдет от других, прибегающих, как настоящие лошади бродяг, на первый зов или свист. Дно трещины, усеянное известковыми глыбами, слоями осыпавшегося сверху дерна, корнями и мокрое от выступившей кой-где подпочвенной воды, – было весьма неровно. В крутых, тесных изгибах стен, высоко над головой поросших почти скрывающим свет и небо кустарником, образовался воздушный ток, напоминающий мягкий ветер лесов; сырость, застоявшаяся тишина и вечные сумерки придавали этому месту характер мрачный и дикий, вполне отвечающий моему настроению. Но, – что служило для меня развлечением, – я начинал чувствовать голод; когда, пройдя сажен сто, спутники мои остановились на сухом месте – груде земли – и стали, не теряя времени, собирать дерево для костра, я принялся им помогать со всем возможным усердием. Огонь, робко блеснув, разгорелся, наполняя ущелье низко оседающим дымом и красной игрой теней; в этом фантастическом освещении наши лица казались вымазанными алой краской и углем.

Наш ужин был скромн, хотя съеден по-волчьи. Дневной свет, вяло, но внятно позволявший различать внутренность горной расселины, угас; несколько звезд смотрело сверху на густой мрак, окружавший костер. Астарот, как мне показалось, все время прислушивался, но, заметив, что я вопросительно смотрю на него, принимал свой обыкновенный вид, начиная говорить громче, чем нужно. Он рассказывал о холоде и выюгах на высоте гор, рыхлых оползнях ледников, прошлогодней экспедиции в поисках медных залежей и недавней охоте, где видел знаменитую волчиху о семи головах, про которую сложилось предание, что она носит в теле двадцать одну пулю и проживет до тех пор, пока не получит свинца прямо в сердце. У этого зверя, по словам охотника, не хватало сущих пустяков: первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой голов, а седьмая была налицо.

– Поэтому она и жива, – заметил Биг, – все стреляли по остальным, кроме седьмой.

– Да, – кратко сказал Астарот и прислушался к тишине, и на этот раз так заметно, что Биг тревожно посмотрел на него. – Ты слышишь что-нибудь, Биг?

Биг закрыл глаза, наклонил голову, затем поднял ее; с минуту они рассматривали один другого, проверяя непонятное для меня – в себе.

Астарот, покачав головой, вытянул шею по направлению к дальнему концу ущелья, хмыкнул и приложил ухо к земле.

– Биг, – прошептал он, – вы подождите здесь, я схожу и скоро вернусь.

– Что случилось? – спросил я.

– Вероятно – обман слуха, – уклончиво, беря ружье, сказал Астарот, – но лучше мне прогуляться.

– Я не думаю, – заметил, привстав, Биг, – это почти невероятно.

Астарот пожал плечами:

– Вот мы увидим, – и он, шурша землей, исчез во тьме.

Биг стал рассеян. Как бы случайно вытаскивал он из костра одну головню за другой и тушил их, засовывая в золу. Не считая уместным праздное любопытство, я молчал. От пламенного костра осталась кучка огненнозорких углей, скупо озарявших землю, складной ножик и

бляхи седла, на котором я сидел, прислушиваясь к заунывному шелесту невидимой, над головами, листвы. Зная опытность людей, сопровождавших меня, я мог быть уверен, что без причины они не обнаружили бы беспокойства, и беспокойство это, в силу его законности, передалось мне. Казалось, что очень слабо, похоже на звон в ушах, различаю я далекие и странные звуки, но стоило ослабить внимание, как эти смутные звуковые призраки переходили в потрескивание углей или шелест осыпающейся земли. Устав думать о загадках ущелья, я махнул рукой. Биг пристально посмотрел на меня.

– Вы не слышите? – тихо спросил он.

– Нет. А вы?

– Как будто бы – да!.. – Биг перебил себя. – Но это возвращается Астарот.

Осторожные, медленные шаги, в силу своеобразной акустики прохода, звучали со всех сторон, как будто к нам двигалась толпа. Я испытал неприятное, нервное ощущение, но, когда Астарот вырос у моего плеча во весь рост, эхо шагов умолкло.

– Костер, пожалуй, не помешает, – сказал он, присев на корточки и раздувая брошенную им поверх углей охапку древесного лома; он кивнул головой Бигу далеко не успокоительно, а тот почесал лоб. – Нельзя идти дальше, – заговорил Астарот; он сказал еще несколько слов, но тут, вспыхнув, заполоскали огненными языками дрова, и я с изумлением увидел новое, совсем переродившееся лицо Астарота. Он был ярко бледен, весел без улыбки и оживлен; веселье, поразившее самую глубину его зрачков, не было простым смехом глаз; в нем светилось столько безумной остроты, значительности и мысли, что я в первый момент отнес это на счет изменчивых колебаний пламени; однако не могло быть сомнений, что охотник испытывает нечто в сильнейшей степени. Он посмотрел на меня взглядом человека, рассматривающего горизонт поверх головы собеседника, и тотчас же отвернулся к Бигу.

– Я прошел, – начал он свой рассказ, – так далеко, что уткнулся руками в поворот и пополз. Через минуту я слышал шум, какой бывает, когда о крышу дробится проливной дождь. Шум переходил в голоса. Я не мог ничего расслышать, но там, должно быть, говорило или шепталось вполголоса много людей. Тогда я прополз дальше, пока не увидел своих рук. Это был свет. На камне сидел часовой, судя по форме – из волонтеров Фильбанка; он не видел меня и совал прикладом в горевший перед ним костер сучья, которых у стены я заметил большой запас. С меня было довольно, я отступил в тень и вернулся.

– Хорошо, – медленно сказал Биг, – подумаем обо всем этом. – Он закурил трубку. – Надо отдать справедливость Фильбанку: он знает, что делает. Утром Фильбанк будет хозяином в Зурбагане.

– Утром? – спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен.

Астарот не дал мне времени поправиться.

– Утром светло, – сказал он. – Ночью следует опасаться засады – если не в проходе, то при выходе из него; так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден, и Фильбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на Зурбаган и перебьет гарнизон.

– Нам надо вернуться, – сказал Биг. – Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фильбанку проход. Кого это, интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда?

Астарот пристально, как бы взвешивая и что-то рассчитывая, смотрел на Бига; оба они не обращали на меня никакого внимания. Но я и не претендовал на это; мне нравилось безответственное положение зрителя; давая же советы или пытаясь – вообще – проявить свое влияние, я этим принимал на себя известные обязательства, относительно которых, не зная пока, куда они могут клониться, решил быть в стороне.

– Мне пришла в голову одна мысль! – Астарот с живостью подошел ко мне.

– Сударь, клянусь вам, что это дело чистое и возможное. Не думайте, что я сумасшедший, выслушайте. Можно остановить Фильбанка. В полуверсте отсюда проход образует угол;

стены круты и высоки; более чем пять человек не встанут там рядом. Невелика хитрость убить медведя, и это мы всегда успеем, но если вы не очень боитесь потерять жизнь – Фильбанк отступит. До рассвета, играя в четыре руки, мы поставим между собой и им земляной вал.

– Филь... – начал Биг, – их тысячи, Астарот, но мне такая затея нравится. – Он мечтательно улыбнулся. – Знаете, сударь, ружье и глаз Астарота? Вы должны тогда посмотреть на его работу.

Я понял, что это не шутка, и вздрогнул. Спокойствие Бига поразило меня. Он рассматривал замысел с точки зрения техники и работы, – чудовищную опасность затеи, разумеется, приходилось подразумевать. Предложение, интересное своей колоссальной дерзостью, заставило работать воображение с такой силой, что я встрепнулся.

– Хорошо, – сказал я, – мне нет причин отказываться, я с вами.

– Еще раз!

– Да!

– Еще раз!

– Да!

– О! – сказал Астарот, оставляя меня в покое, – если так, Биг, то не будем терять времени! Скачи и дай знать в Зурбагане, но торопись; середина ночи, путь не близок и труден, патронов немного, оставь свой запас. Есть?

– Есть!

Биг, взвалив на плечо седло и ружье, с головней в руке бросился по направлению к выходу. Это было первым шагом, началом действия, после чего некогда было уже ни говорить, ни закреплять впечатления, и ожидание неизвестного вытеснило из моей головы все остальное.

– Спешите, – сказал Астарот, – возьмем по головне – и за дело!

VI. Фильбанк

Я видел, что имею дело с людьми решительными и отважными в такой степени, о которой мы, не будучи ими, едва ли можем составить себе ясное представление. Но это-то и увлекало меня. Я вспомнил Фильса и его друзей, продельвающих бесцельно головоломные вещи. Здесь, в деле, затеянном Астаротом, требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека, исключительная сосредоточенность мысли и осмотрительность. Следуя в потемках за Астаротом, я чувствовал, что проникаюсь глубоким интересом к дальнейшему; обыкновенная стычка, вероятно, не показалась бы мне столь привлекательной.

Идти было трудно и беспокойно. Спотыкаясь о камни, ямы, возвышения, трещины и холмы осыпей, мы шли так скоро, как позволяли условия, и остановились, когда Астарот сказал:

– Мы у поворота. Дальше идти не стоит: здесь наивыгоднейшее для нас место.

Головни, догорев, угасли; по звуку шагов я чувствовал, не видя охотника, что он кружится неподалеку, ощупывая руками стены. Как оказалось потом, он не был вполне уверен, что поворот здесь. Я явственно слышал его и свое дыхание, чего в обычное время не замечаешь, и дыхание это звучало убедительно, как рожок, играющий наступление. Астарот, нащупав меня, сказал, что надо зажечь костер. Долго, ползая на коленях, собирали мы ощупью хворост, гнилье, пни и все, что дождевые потоки годами обрушивали в проход; наконец покончив с этим, я чиркнул спичкой и поджег наваленную у стены груды.

Тогда, выбрав наиболее возвышенное у поворота место (чтобы облегчить труд), мы стали ворочать камни, вкатывая их на возвышение руками и колями. Поворот уходил влево зубчатым гротом; расстояние между почти совершенно отвесными, с выступами и трещинами, стенами, в том месте, где мы начали кладку, равнялось шести шагам. Тягостное ощущение уси-

ливалось непроницаемым мраком, границы которого далее весьма скудного предела бессилён был раздвинуть огонь.

Охотник укладывал и носил камни, не отдыхая, и я не отставал от него, заражаясь быстротой его движений. Первый ряд, шириною в шесть или семь футов, мы положили легко, второй был возведен уже медленнее; промежутки мы заполняли землей, разрыхляя ее топором Астарота и палками; чем далее, тем труднее становилась наша работа, и я не мог поднимать приблизительно на высоту груди некоторых камней; тогда мы взваливали их вместе, упираясь плечами. Усталости я не чувствовал, напротив – особое нетерпение торопливости подгоняло меня, и в этом было своеобразное упоение. Я двигался в страстном хороводе усилий, ускоряя темп их почти до головокружения; с наслаждением замечал я удобные камни и, взвалив их, шатаясь, в следующий ряд баррикады, спешил за новыми. Иногда, для того, чтобы подбросить в огонь дров, мы прекращали работу, – но уже, невольно оглядываясь, разыскивали глазами новый материал; в одну из таких минут охотник сказал:

– Довольно! Заграждение на высоте нашего роста. Устроим еще амбразуры и прекратим.

Это было действительно последнее, что нам оставалось сделать. Амбразуры мы соорудили из самых больших камней, а внизу, у подножия заграждения, устроили несколько грубых ступеней. Когда все было кончено и поперек ущелья вырос настоящий тупик, – я сел, чувствуя слабость: устало колотилось сердце, с трудом разгибались руки. Меня клонило ко сну. Я сделал попытку встряхнуться, но ослабел еще более и, в состоянии полного изнурения, уронил голову на руки.

– Отдохните, я спать не буду, – сказал Астарот, и я, позабыв все, уснул. – Пора, – сказал, нагибаясь ко мне, Астарот. Я сознавал, что это говорит он, но тотчас уснул опять, и приснилось мне, что охотник спит, а я расталкиваю его, говоря: «Вставайте!» – Вставайте! – повторил Астарот, и я нервно вскочил.

Костер потух. Было еще темно, но вверху ясно обозначались на свежем небе силуэты обрыва. Внизу, присмотревшись, можно было различить, хотя с трудом, хаотическое дно прохода; ущелье напоминало разрыв гигантским плугом. Я тотчас припомнил все. Астарот, стоя у заграждения, раскладывал патроны, чтобы иметь их под рукой; у него был очень деловой вид.

Я подошел к нему, взяв ружье, но видя, что он положил свое, – сделал то же.

– Через полчаса, а может быть, и меньше, – сказал охотник, – мы увидим врага. Встреча будет не из приятных, но шумная и – по-своему – оживленная.

Только теперь я обратил внимание на высоту баррикады, и высота эта показалась мне чрезмерной.

– Мы перестарались, Астарот, – заметил я, – можно было устроить тупик пониже.

– Нет!

– Почему?

– Вы недогадливы. Когда люди начнут падать от выстрелов, нужно, чтобы им было как можно более места в высоту. В противном случае они закроют собой цель.

– Астарот, – сказал я, – меня интересует нечто более важное. Почему вы, не солдат, даже не горожанин по привычкам и образу жизни, подвергаете себя немалому риску, выступая против Фильбанка?

– Да. Почему? – рассеянно ответил он. – Три часа тому назад я, пожалуй, не нашел бы, что вам ответить. Пока мы таскали камни, все выяснилось. Разве вы всегда знаете, почему делаете то или другое? Но я теперь знаю. Потому что это не совсем обыкновенное дело. Будет о чем вспомнить и рассказать. Я скоро начну сидеть, а что было у меня в жизни? Полдюжины мелких стычек и безопасные охоты? Нет, мне хотелось бы превратить в войну всю жизнь, и чтобы я был всегда один против всех. Увы, это немислимо. Всегда кто-нибудь скажет: «Вы поступили правильно, Астарот».

Он произнес это с оттенком спокойной грусти. И я понял, как безмерно жаден и горд этот полудикый человек, считающий несчастьем то, о чем мечтают и чего добиваются миллионы.

– Даже так?

– Именно так. Если бы я знал, что есть где-нибудь второй Астарот, полный двойник мой не только по наружности, но и по душе, я бы пришел к нему с предложением кинуть жребий – ему жить или мне? Мы подвергаемся теперь опасности; поэтому я желаю, чтобы вы узнали меня. Где-то, когда и где – не помню, имел один человек редкую книгу и был уверен, что ни у кого больше на всем земном шаре нет такой же второй книги. Но вот приходят к нему и говорят, что в соседнем городе, у богатого помещика, именно такой экземпляр лежит в хрустальной шкапулке. Тотчас же этот человек взял большую сумму денег и приехал к сопернику. Не говоря ему о своей книге, он купил за бешеную цену второй экземпляр и бросил его, на глазах бывшего владельца, в камин; огонь сделал свое дело. Итак, теперь вы поняли, почему я против Фильбанка? Потому, что Фильбанк не скажет: «Правильно, Астарот!»

С глубоким изумлением смотрел я на этого – воистину – загадочного человека. Он отвернулся, прислушиваясь, и положил мне на плечо руку.

– Фильбанк наступает, – сказал Астарот, – будем встречать гостей.

Небо прояснилось; раннее утро наполнило сумрачный проход унылым светом. Я слышал, закладывая патроны, глухой ропот шагов, позвякивание, шорохи, неопределенный протяжный шум и смутные голоса. Астарот, не отрываясь, смотрел через заграждение; настойчивый взгляд его как бы просил торопиться и не задерживать. Шум превратился в гул; отголоски, проникая эхом позади нас и по всему тревожно оживающему проходу, раздавались со всех сторон. Из-за поворота показались солдаты. Ничего не подозревая, они торопливо, держа ружья наперевес, высыпали на близкое от нас расстояние и с недоумением, а некоторые с испугом – остановились.

Астарот выстрелил, затем – я, целясь в ближайшего; тотчас же два человека, пятась и вскрикивая, упали назад, и то, что произошло далее, было поистине потрясающе даже для меня, готового ко всему. Проход загудел и взвыл, слабые вначале раскаты гула, полного воплей, крика, звона и угрожающего смятения, отраженные глухим эхом, усилились до громopodobного взрыва. Тысячи людей, стиснутые за поворотом узкими отвесами стен, бились в необычайном волнении. Солдаты, в которых стреляли мы, скрылись; но не прошло и минуты, как новый рой их, стремительно кинувшись вперед, упал на колени, гремя выстрелами, и в тот же момент стоявший за солдатами офицер прислонился к стене, сраженный выстрелом Астарота.

Я был в состоянии никогда мною не испытанного головокружительного увлечения. Мои выстрелы, которые, сдерживаясь, я посылал весьма тщательно, не всегда достигали цели, но Астарот поступал толково. Я не помню в эти минуты ни одного с его стороны промаха. Он хлестал пулями, как бичом, и каждый выстрел его убивал, даже не ранил. Он был вне себя, но меток. Один за другим растягивались, взмахивая руками, солдаты, и в этой сосредоточенно-деловитой стрельбе было столько уверенности, что я невольно взглянул на рассыпанные у локтей Астарота патроны, считая их вместо солдат. В глубине поворота блестели, колыхаясь, штыки, но скоро их и лица солдат туманом окутал пороховой дым, и огонь выстрелов еще ярче заблестел в дыме, принимая красный оттенок. Пули, разбиваясь о камни звонкими, отрывистыми ударами или свистя над головой, напоминали о смерти, но в жестокой жуткости их я ловил звуки очарования и немного восторга перед лицом судьбы, подвергнутой столь гневному испытанию.

Прикрытый камнями, целясь в узкую меж ними, не шире трех пальцев, щель, я мог до времени считать себя в безопасности, но опасаясь за ружье, могущее быть подбитым случайной пулей, выставлял дуло самым концом. Я целился и стрелял преимущественно в тех, чей прицел видел направленным на себя. Солдаты, постепенно отступая, стреляли теперь из-за угла поворота, подставляя охотнику для прицела лишь часть головы, – но он поражал их и в таком

положении, и именно – в голову. Они падали на свои ружья, а на их месте появлялись другие; я же, сберегая патроны, ждал нового открытого выступления. Вдруг Астарот, прицелившись, опустил ружье: ни людей, ни выстрелов не виделось больше в повороте, и перестрелка умолкла. Трупы, один на другом, лежали более чем внушительно.

– Слушайте, вы! – вскричал охотник. – Слушайте! Скажите Фильбанку, что он не пройдет здесь. Я не один; нас двое, и мы устроим вам очень тесную покойницкую! Уходите!

Никто не ответил ему, но и я и он знали, что те, к кому были обращены эти слова, – слышат.

– Вас двое? – неожиданно сказал, появляясь в глубине поворота человек с белым платком в руке; он махнул им несколько раз и подошел ближе. Он был без ружья и всякого другого оружия; как бы вспухшие глаза его на мясистом бледном лице, лишенном растительности, тонкий, словно запечатанный, рот – были презрительны; он смотрел, прищурившись, и медленно улыбнулся. – Вас двое? Каждого из этих двоих я повешу за ноги; я возьму вас живьем. Я – Фильбанк.

– Разбойник, – сказал Астарот, – если бы не белый платок, я перевязал бы тебе голову красным.

– Бродяга, – ответил, темнея, Фильбанк. – Мундир, который ты видишь на мне, обязывает меня сдерживать слово. Долой из этого курятника! Беги!

– Повелитель, – насмешливо возразил охотник, – почему вам хочется идти в эту сторону? Ступайте обратно, там вам не помешает никто. Пока вы идете вперед – сила на нашей стороне, но, разумеется, никакими усилиями не удалось бы нам задержать вас, если вы вздумаете отступить; самое большее, что мы схватим за шиворот двух.

– Хорошо, – сказал Фильбанк. – Помни! – И он скрылся.

– Это – атака, – сказал, хватая меня за руку, Астарот. – Но нам, может быть, не хватит зарядов. Биг не возвращается. Вы готовы?

– Вполне.

Высокий торопливый рожок заиграл в невидимом повороте и смолк. Тогда я увидел, что может сделать один человек, вполне владеющий искусством стрельбы. Толпа, выбежавшая на нас, расступилась, давая упасть мертвым; их было не меньше шести; шесть пуль вылетело из ружья Астарота скорее, чем я прицелился в одного. И так же, как и в первый раз, испуганные солдаты остановились, но охотник еще раз повторил ужасную операцию – и я увидел множество падающих, как пьяные, обезумевших людей; хватаясь друг за друга, вскрикивали они и умирали на наших глазах в то время, как уцелевшие растерянно смотрели на них. – Попробуйте окопаться! – крикнул охотник. Некоторые повернулись и побежали. Здесь я убедился в преимуществе магазинных ружей перед однозарядными; у меня же и Астарота были именно магазинки – Шарпа и Консидье. Шарповские значительно легче, но Консидье для меня был удобнее по устройству прицела, благодаря которому менее опытный стрелок может быть и не вполне точен, зато быстрее ловит, с небольшою ошибкою, мушку.

Воспользовавшись замешательством наступающих, я решил истратить несколько патронов подряд, – для впечатления. Из них только один пропал даром. Не знаю, что подумал об этом охотник, но я не претендовал равняться с ним в точности. Вероятно, он не заметил этого. Губительная работа захватила его. Волонтеры стреляли залпами, стараясь держаться дальше и не толпой; некоторые, срываясь, подбегали почти вплотную и не возвращались назад, и я вспомнил слова охотника о высоте заграждения. Иногда, сбитые пулей, каменные брызги хлестали меня в лицо; я вытирал кровь и стрелял снова, торопясь предупредить каждого целившегося в меня.

– Двадцать пуль я могу уделить им, – сказал охотник, – двадцать первая для меня. Приберегите и себе, – прибавил он, помолчав, – а то ведь Фильбанк сказал правду.

Слова его не испугали и не взволновали меня. Я мало надеялся на благополучный исход и, сообразив, что могу выстрелить, без риска остаться живым, еще десять раз, всадил первую из десяти в голову толстого волонтера, только что высунувшегося ползком из-за угла поворота. Солдат дернулся и упал.

– О Биг, Биг! – вскричал Астарот, хватаясь за раненое ухо, – скоро я не буду ни слышать, ни видеть, ни стрелять, но ты увидишь, Биг, что не зря оставил заряды! Ведь это трупы!

И он, уже не оберегая себя, вскочил на верхнюю ступень заграждения, показывая мне рукой грудь, за которой, как за прикрытием, торчали вспыхивающие молниями штуцера. Спрыгнув, Астарот рассмеялся.

– Довольно! – сказал он. – Дело, как мы умели и могли, сделано. Не пора ли? Нет. Вы слышите? Это – Биг и солдаты!

Я оглянулся. Из-за бугров, маленькие на отдалении, торопливо выскакивали, подбегая к нам, вооруженные люди, и я от всего сердца мысленно поздравил их с продолжением удачного дела.

VII. Возвращение

Меня вытеснила толпа солдат, и я очутился у стены, шагах в десяти от заграждения, вместе с охотником. К нам подошел Биг.

– Правильно, Астарот! – сказал он, задыхаясь от изнурительного бега в проходе.

Лицо Астарота, блиставшее перед тем упоением торжества, разом погасло, осунулось, и тень ровной грусти мгновенно изменила выражение глаз, замкнуто, чуждо раскатам свалки смотревших на живую заправду, истребительную возню.

– Я сделал это для себя, – сказал Астарот, подумав, – и более мне делать здесь нечего. Уйдем, Биг. Не следует дожидаться конца.

– Да, – подтвердил Биг, – через полчаса здесь будут орудия.

– Тем лучше. Ты останешься?

– Нет, – это дело сделают без меня.

Усталые, изредка оглядываясь на трескучий дым, мы выбрались из прохода. Неподалеку валялись, играя, лошади. Оседлав их, мы тронулись к югу; затем Биг нагнал ехавшего впереди Астарота, и они, тихо разговаривая о происшествии дня, шагом погрузились в заросль на склоне горы, а я, следуя за ними, спрашивал себя: точно ли произошло все, в чем был я свидетелем и участником? Я грустил о том, что так скоро кончились пленительный бой и тревога, и тьма ночи, и зловещее утро у заграждения; но ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей. Я пережил страстное увлечение и был счастлив, но не желал просто драться, так же как Астарот.

Прекрасный день заливал горы живым водопадом солнца, тающего в тесных изгибах чащи крупным дождем золотых пятен, озаренных листьев и отвесных лучей; цветы вздрагивали под копытами, обрызгивая росой траву, а спутанные корни тропинок вились по всем направлениям, уходя в цветущую жимолость, акацию и орешник. Тогда, пристально осматриваясь кругом, я заметил, что наблюдаю, в особом и новом отношении к ним, все явления, которые раньше были мне безразличны. Явления эти неперечислимы, как сокровища мира, и главные из них были: свет, движение, воздух, расстояние и цель движения. Я ехал, но хотел ехать; двигался, но во имя прибытия; смотрел, но смотреть было приятно. Я освободился от тяжести. Медленно, но безостановочно, как поднимаемый домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть, и я, боясь ее возвращения, с трепетом следил за собой, ожидая внезапного тоскливого вихря, приступа смертельной тоски. Но происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыто стучит звонко и крепко, что ветви трещат упруго, что птица кричит

чистым, задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег, что камень дал о подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сижу, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод; я был голоден и хотел спать. И все, что я слышал, видел, знал и чувствовал, – было так, как оно есть: непоколебимо, нужно и хорошо.

Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны: увлечения, пренебрегающего даже смертью, и она вернулась ко мне юная, как всегда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент; я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь.

Невольно, глядя на ехавших впереди ловких и бесстрашных людей, припомнились мне звучавшие раньше безразлично строки Берганца, нищего поэта, умершего из гордости голодной смертью в мансарде, потому что он не хотел просить ни у кого помощи; и я мысленно повторил его строки:

У скалы, где камни мылит водопад, послав врагу Выстрел, раненный навывлет, я упал на берегу, Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел, Палец мой лежит на спуске; точно выверен прицел.

И умолк лиса-убийца; воровских его шагов Я не слышу в знойной чаще водопадных берегов.

Лживый час настал голодным: в тишине вечерней мглы Над моим лицом холодным грозно плавают орлы, Но клевать родную падаль не дано своим своим, И погибшему не надо ль встать на хищный возглас их?

Я встаю... встаю! – но больно сесть в высокое седло.

Я сажусь, но мне невольно сердце болью обожгло, Каждый, жизнь целуя в губы, должен должно платить, И без жалоб, стиснув зубы, молча, твердо уходить.

Нет возлюбленной опасней, разоряющей дотла, Но ее лица прекрасней клюв безумного орла.

Вспомнив это, я вспомнил и самого Берганца. Он любил смотреть из окна седьмого этажа, где жил, на розовые и синие крыши города, и простаивал у окна часами, наблюдая, без изнурительной зависти, с куском хлеба в руке певучее уличное движение, полное ярких соблазнов.

В полдень я простился с охотниками. Они уговаривали меня остаться с ними ради охоты, но я был утомлен, взволнован и, поблагодарив их, остался один с своими новыми мыслями. Только к вечеру я попал в Зурбаган и бросился, не раздеваясь, в постель. Не каждому удается испытать то, что испытал я в проходе Бига, но это было, и это – судьба души.

Золотой пруд

Обращает драгоценности в угли.
(Азриппа)

I

Фуль выполз из шалаша на солнце. Лихорадка временно оставила его, но он отупел от слабости. Глаза Фуля слезились от солнца, бродяга чувствовал себя беспомощнее травяной блохи, упавшей на поверхность пруда. С бесцельной внимательностью следил он за насекомым. Блоха явно тонула, но не могла еще утонуть; вода была для крошечного ее тела слишком плотной средой. «С таким же успехом, – подумал Фуль, – мог бы человек попытаться утонуть в крутом студне».

Шалаш Фуля и его товарища по бегству из тюрьмы – Бильбоа – стоял на отвесном берегу маленького пруда, несомненно, искусственного происхождения. Пруд имел форму сильно растянутого ромба, на противоположном от шалаша берегу, в темных кустах, виднелись остатки стен, груды кирпичей и земли. Лес тесно подступил к самой воде, засорив воду у берегов валежником, листьями и лепестками цветов. Только середина пруда отражала золотой солнечный глаз, прозрачный и чистый; от небольшого пылающего кружка расходилась к берегам тень угрюмых, опрокинутых под водой деревьев. Водоросли темнили еще более прибрежную воду. Пруд был глубок, вода холодна и спокойна.

Утопающая блоха пробила наконец лапками воду и легла на нее брюхом.

«Бильбоа не охотник, – думал Фуль, – едва ли он принесет еду, но есть хочется ужасно, до тошноты. Ах, если бы у меня было немного сил!» Свесив голову над аршинным обрывом берега, Фуль вернулся к блохе. Она постепенно, барахтаясь, уползала от берега, и Фуль, чтобы не потерять ее из виду, напряг зрение. В том направлении, в каком смотрел он, водоросли были светлее и реже; в их чаше над дном мелькали, блестя, рыбы. Одна из них, неподвижно стоявшая у самых корней водорослей, заинтересовала Фуля неестественным изгибом спины, блестящей как медь; он взгляделся...

Сильные, зоркие глаза его, напряженно рассматривавшие перед тем маленькую точку блохи, освоились с игрой света и теней и легко различали уже в прозрачной, несмотря на трехсаженную глубину, воде край массивного золотого блюда, так похожего, было, на свернутую спину рыбы. Блюдо это лежало косо, нижняя половина его ушла в ил, а верхняя, приподымаясь, горела в одной точке ослепительным зерном блеска, напоминающего фиксацию зажигательного стекла. Фуль взялся рукой за сердце, и оно стукнуло как неожиданный выстрел, бросив к щекам кровь. С глубоким, переходящим в испуг изумлением смотрел Фуль на выступающую из подводных сумерек резьбу золотого блюда, пока не убедился, что точно видит драгоценный предмет. Он продолжал шарить глазами дальше и вскрикнул: везде, куда проникал взгляд, стояли или валялись на боку среди тонкой травы – кубки, тонкогорлые вазы, чаши и сосуды фантастической формы; золотые искры их, казалось, дышали и струились звездным потоком, меж ними сновали рыбы, переваливались черные раки, и улитки, подняв слепые рожки, ползали по их краям, осыпанным еле заметными в воде, выложенными прихотливым узором камнями.

Фуль разорвал воротник рубашки. Он встал, протягивая дрожащие руки к прозрачной могиле сокровища. От жары, слабости и потрясения у него закружилась голова; шатаясь, он стал раздеваться, отрывая пуговицы, не думая даже, выдержит ли его слабое тело глубокий нырок.

II

– Ты хочешь принять ванну? – сказал Бильбоа, проламываясь сквозь кусты. В одной руке он держал солдатское ружье, отнятое у конвоя в момент побега, другой тащил привязанную к палке небольшую дикую свинью. – Когда я был богат и свободен, я тоже принимал ванну каждый день перед завтраком. Вот свежие отбивные котлеты.

– Бильбоа! – сказал Фуль, – что скажешь ты, если мы сможем теперь купить миллион отбивных котлет? А?

Каторжник уронил ружье. Потемневшие глаза Фуля ударили его внезапной тревогой; Фуль, стискивая руки, метался перед ним, дыша хрипло, как умирающий.

– Смотри же, – властно сказал Фуль, – смотри! – Он силой посадил Бильбоа рядом с собою на краю берега. – Смотри, здесь несколько пудов золота. Сначала останови взгляд на этом черном листке, где сломан камыш. Возьми на глаз четверть влево, к плавающей траве. Потом два фута вперед и вниз, под углом 45°. Там, где блестит. Это полупудовая тарелка для твоих котлет.

Он говорил, не отрывая глаз от воды. Вся жажда неожиданного и чудесного, вскормленная долгими годами страданий, ожила в встревоженной душе Бильбоа. Он нырнул глазами по направлению, указанному Фулем, но еще ничего не видел.

– Ты бредишь! – сказал он.

– От блюда, – продолжал Фуль, – во все стороны разбросана золотая посуда. Вот, например, три... нет – четыре золотых кружки... одна смята; затем – маленькие тарелки... кувшин, обвитый золотой змеей, ларец с фигуркой на ящике... О Бильбоа! Неужели не видишь?

Бильбоа ответил не сразу. Золото, разбросанное в беспорядке, понемногу выступало из тени; он различал формы и линии, чувствовал вес каждой из этих вещей, и руки его в воображении гнулись уже под счастливой тяжестью.

– А! – крикнул Бильбоа, вскакивая. – Здесь царский буфет! Я тотчас же полезу за всем этим!

– Мы богаты, – сказал Фуль.

– Мы переедем на материк.

– И продадим!

– Бильбоа! – торжественно сказал Фуль, – здесь более, чем богатство. Это выкуп от судьбы прошлому.

Бильбоа, сбросив одежду, разбежался и нырнул в пруд. Медное от загара и грязи тело его аркой блеснуло в воздухе, спокойная поверхность пруда, хлестнув брызгами, разбежалась волнистым кругом, и ноги пловца, сделав последний над водой толчок, скрылись.

III

Бильбоа пробыл на дне не больше минуты, но Фуль пережил ее как долгий, неопределенный промежуток времени, в течение которого можно разрыдаться от нетерпения. Нагнувшись, едва не падая в воду сам, Фуль гневно гопал ногами, пытаясь рассмотреть что-либо в слепой ряби потревоженного пруда. Он, беглый арестант Фуль, был в эти мгновения, как десять лет назад, – барином, требующим всего, чего лишил его суд и позор. Семья, дом в цветах, холеные лошади, комфорт, тонкое белье, книга и почтительный круг знакомых снова возвращались к нему таинственным путем клада. Он думал, что теперь ничего не стоит, переименовав имя, вернуть прежнюю жизнь.

Снова всплеснул пруд, и мокроволосая голова Бильбоа подскочила из глубины в воздух. Крайнее изнеможение от задержки дыхания выражало его лицо. Шумно вздохнув, подплыл

он к берегу, гребя одной рукой; в другой же, которую он держал внизу, неясно блестело. С тягостным, неопределенным предчувствием следил Фуль за этим неровным блеском; молчание плывущего Бильбоа терзало его.

– Ну?! – тихо спросил Фуль.

Бильбоа в изнеможении ухватился свободной рукой за обрыв берега.

– Мы оба сошли с ума, Фуль, – проговорил он. – Там ничего нет. Когда я нырнул, блеск метался перед моими глазами, и я некоторое время тщетно ловил его. Ты знаешь, у меня одышка. Но я поймал все-таки. Это твои кандалы, Фуль, которые ты пять дней назад разбил камнем и швырнул в воду. Вот они.

К ногам Фуля упали, звякнув, отполированные годами длинные цепи. Он медленно отошел от них.

Бильбоа молча одевался. Он намеренно делал это, стоя спиной к товарищу, чтобы не видеть его лица. Неосновательное возбуждение Бильбоа улеглось, и он, как человек практический по преимуществу, отдался уже привычным мыслям о том, сколько еще дней, для безопасности, следует просидеть в лесу и что делать с дикой свиньей: зажарить ли в золе ногу или, потратив полчаса, устроить блюдо изысканнее, например, котлеты.

Фуль, чувствуя сильную лихорадочную слабость, лег навзничь. Он думал, что, не будь на противоположном берегу пруда безвестных развалин, он, может быть, не увидел бы и золота в собственных кандалах. Но эти развалины так убедительно шептали о преступном богатстве, спрятанном от чужих глаз.

– Я рад хоть, что она потонула наконец, – сказал Фуль.

– Кто?

– Блоха. Но ей все же было легче, чем сейчас мне.

Новый цирк

I. Должность

Я выпросил три копейки, но, поскользнувшись, потерял их перед дверями пекарни, где намеревался купить горячего хлеба. Это меня взбесило. Как ни искал я проклятую монету – она и не думала показываться мне на глаза. Я промочил, ползая под дождем, колени, наконец встал, оглядываясь, но улица была почти пуста, и надежда на новую подачку таяла русским воском, что употребляется для гаданий.

Два месяца бродил я по этому грязному Петербургу, без места и крова, питаюсь буквально милостыней. Сегодня мне с утра не везло. Добрый русский боярин, осчастлививший меня медной монетой, давно скрылся, спеша, конечно, в теплую «изба», где красивая «молодка» ждала его уже, без сомнения, с жирными «щи». Других бояр не было видно вокруг, и я горевал, пока не увидел человека столь странно одетого, что, не будь голоден, я убежал бы в первые попавшиеся ворота.

Представьте себе цилиндр, вышиною втрое более обыкновенных цилиндров; очки, которые с успехом могла бы надеть сова; короткую шубу-бочку, длинненькие и тонкие ножки, обутые в галоши Э 15, длинные космы волос, свиное рыло и вместо трости посох, в добрую сажень вышиной. Чучело картинно шагало по тротуару, не замечая меня. Весь трепеща, приблизился я к герою кунсткамеры, откуда он, вероятно, и сбежал. Самым молитвенным шепотом, способным растрогать очковую змею, я произнес:

– Ваше сиятельство. Разбитый отчаянием, я умираю с голода.

Привидение остановилось. В очках блеснул свет – прохожий направил на меня свои фосфорические зрачки. Невообразимо противным голосом этот человек произнес:

– Человека труд кормит, а не беструдие. Работай, а затем – ешь.

– Это палка о двух концах, – возразил я. – Немыслимо работать под кишечную музыку, так сказать.

– А, – сказал он, сморкаясь в шарф, которым была окутана его шея. – Сколько же тебе нужно фунтов в день пищи?

– Фунта четыре, я полагаю.

– Разной?

– Хорошо бы... да.

Урод полез в карман, извлек сигару и закурил, бросив мне спичку в лицо. Это было уже многообещающей фамильярностью, и я вздрогнул от радости.

– Как зовут?

– Альдо Путано.

– Профессия?

– Но, – торопливо возразил я, – что такое профессия? Я умею все делать. В прошлом году я служил у драгомана в лакеях, а в этом рассчитываю быть чем угодно, вплоть до министра. Беструдие же и порицаю.

– Хорошо, – проскрипел он. – Я нанимаю тебя служить в цирке. Обязанности твои не превышают твоих умственных способностей. Потом узнаешь, в чем дело. Жалованье: кусок мыла, вакса, пачка спичек, фунт табаку, четверка калмыцкого чая, два фунта сахарного песку и сорок четвертаков в месяц, что составит десять рублей.

– Быть может, – робко возразил я, – вы назначите мне шестьдесят четвертаков, что составит совершенно точно – пятнадцать рублей.

- Будь проклят, – сказал он. – Идешь? Я зябну.
- Я следую за вами, ваше сиятельство.

II. Представление

Самое пылкое воображение не могло бы представить того, что удалось увидеть мне в этот вечер. Шагая за чудесным патроном, я через несколько минут приблизился к круглому деревянному зданию, освещенному изнутри; у подъезда извозчики и автомобили. На фронтоне сияла огромная, малеванная красной краской, полотняная вывеска:

ЦИРК ПРЕСЫЩЕННЫХ

Небывало! Невероятно!

Раздача пощечин!

Истерика и др. аттракционы

Мы прошли в деревянную пристройку. При свете жестяной лампы сидело здесь несколько человек. Некоторые из них были одеты в шкуры зверей и потрясали палицами; другие, в отличных фраках и атласных жилетах, звенели тяжелыми кандалами на руках и ногах; третьи щеголяли дамскими туалетами и путались в тренях. Волосатые декольте их были ужасны.

– Он будет служить, – вскричал патрон, указывая на меня.

Рев, звон кандалов и жеманный писк приветствовали эти слова.

– Альдо, – сказал патрон, – ты выйдешь на арену со мной. Когда я дерну тебя за волосы, кричи: «Горе мне, горе».

– Да, маэстро.

– Громко кричи.

– Да, маэстро.

Он дал мне пинка, и я, услышав вслед: «Смотри представление», – выбежал через конюшню к барьеру. Блеск люстр ослепил меня. Цирк был полон, нарядная толпа зрителей ожидала звонка. Осмотревшись, я увидел, что лица публики бледны и воспаленны, синеватые тени окаймляют большинство тусклых глаз; иные же, румяные, как яблоко, лица были противны; на эстраде играл оркестр. Инструменты оркестра заинтересовали меня: тут были судки, подносы, самоварные трубы, живая ворона, которую дергали за ногу (чтобы кричала), роль барабана исполнял толстяк, бивший себя бутылкой по животу. Капельмейстер махал палкой, похожей на ту, которой протыкают сига. Гром музыки нестерпимо терзал уши. Наконец, оркестр смолк, и на арену выбежал мой патрон с ужасной своей кандально-декольтированной свитой; эти люди тащили за собой собаку, клячу-одра и сидевшего на одре верхом деревенского парня в лаптях.

– Вот, – сказал патрон, указывая на перепуганную собаку, – недрессированная собака.

Раздались аплодисменты.

– Собака эта, – продолжал патрон, – замечательна тем, что она не дрессирована. Это простая собака. Если ее отпустить, она сейчас же убежит вон.

– Бесподобно! – сказал пшют из ближайшей ложи.

– В обыкновенных цирках, – патрон сел на песок, – все дрессированное. Мы гнушаемся этим. Вот, например, – крестьянин Фалалей Пробкин, неклоун. «Неклоун». Это его профессия. Вот – недрессированные – корова и лошадь.

Кое-где блеснули монокли и лорнеты. Публика внимательно рассматривала странных животных и неклоуна. Я чувствовал себя нехорошо. В это время, косо поглядев в мою сторону, патрон схватил меня за волосы и вытащил на середину арены.

– Теперь, – сказал он, – чтобы вы не скучали, я буду щекотать нервы. Слушайте вы, негодяи! – Тут его пальцы крепко впились мне в затылок, и я пронзительно заорал:

– Горе мне, горе!

– Да, – продолжал он, – пройдохи, плуты, лгуны, мошенники и подлецы. Облить бы вас всех керосином! Я, Пигуа де Шапоно, даю ряд великих советов. Советы – это второе отделение. Проповедь любви, жизни и смерти! Красивая и интересная жизнь может быть приобретена с помощью следующих предметов: электромотора, мясного порошка и вставных челюстей.

– Горе мне, горе!

– Что касается любви, то лучший рецепт следующий: встав рано, следует обтереться холодной водой, выпить стакан сливок с мадерой, съесть сотню петушьих гребешков, дюжину устриц, пикули, кайенский перец, запить все это стаканом гоголь-моголя, чашкой шоколада, абсентом и затем купить хорошую лодку. В эту лодку можно заманить женщину... трум-тум-тум.

– Горе мне! – возопил я, хватаясь за волосы, потому что пальцы Пигуа де Шапоно почти вырывали их.

– Относительно смерти, – ораторствовал Пигуа, – посоветую вам, для приобретения бессмертия, ворваться в какой-либо музей, отбить головы у Венер, облить пивом пару знаменитых картин, да еще пару изрезать в лохмотья, и – бессмертие состряпано.

Но дома (если вы попадете домой) нужно написать мемуары, где вы признаетесь, что вы повесили кошку и проглотили живого скворца.

– Горе мне! Больно!.. – застонал я.

Публика неистовствовала. Гром одобрения заглушил мой жалобный вопль. Опасаясь, что Пигуа подаст больше советов, чем у меня на голове волос, я вырвался, сшиб с патрона цилиндр и уже осматривался, в какую сторону удирать, как вдруг раздались крики: «Пожар! Спасайтесь! Горим!», – и началось невообразимое.

III. Конец нового цирка

Все смешалось. Люди прыгали друг через друга, дрались, падали; женщины, падая сотнями в обморок, загораживали проходы и висли обременительным грузом на руках проклиняющих их в эту минуту отцов, мужей и любовников. Арена опустела. Все бросились к боковым проходам, и меня раза три сбили с ног, прежде чем я успел, шагая по головам и плечам, выскокить на наружную лестницу. Огня еще не было видно, но скоро он показался и осветил площадь мрачными отблесками. Проклиная Пигуа де Шапоно, от рук которого до сих пор щемило затылок, я отбежал в сторону от горящего здания и сел на тумбочку, рассматривая пожар.

Пулей вылетали из проходных дверей спасшиеся от огня зрители; остальные же, без сомнения, не успев обессмертить себя, скромно оканчивали жизнь внутри цирка. Мне это понравилось. В нашей бедной жизни так мало развлечений, что на пожар, обыкновенно, сбегаются целые кварталы, и, боже сохрани, чтобы я видел в толпе зрителей сочувствующее пого-

рельцам лицо. Тупо, страшно, дико смотрит на пожар бессмысленная толпа, и я, как ее сын, мог ли смотреть иначе? Сначала я был действующим лицом, а теперь стал зрителем.

Цирк сгорел быстро, как соломенный. Сгорел. Мертвые срама не имут.

Система мнемоники Атлея

I

Грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью.

Случилось, что когда мы начали забывать о юре молодой женщины, носившей странное имя Зелла, вся эта история с исчезновением ее мужа после долгих лет получила в наших глазах неотразимое обаяние – впечатление, покоившееся в основах на воспоминании о том летнем вечере, когда Пленер пел в дубовой роще свою лучшую песню о «Графе в изгнании». Начальные слова песни были таковы:

Земля не принимает моих следов,
Они слишком легки, небрежны и оскорбительны для нее,
Привыкшей к толстым сапогам поденщиков,
К осязательным следам жизни,
Ненужной для себя самой.

Когда он кончил, солнце садилось и ветер пошевелил листву, затканную сонным, очаровательным румянцем зари. После этого Пленер исчез. Может быть, это было для него так же неожиданно, как и для нас, потому что никто не успел заметить момент его исчезновения. В памяти всех, как сейчас, так и тогда, осталась его высокая, прямая фигура, с рукой, прикрывающей глаза. Он пел в этой позе, а затем его не стало. Через неделю, когда добровольные и полицейские розыски оказались безуспешными, Зелла перешла от острых припадков горя к тихому отчаянию.

Все, что ум человеческий может противопоставить роковому в виде вопросов и неуклюжих догадок, было сделано нами, пересмотрено, отвергнуто и забыто. Но от исчезновения человека осталось веяние таинственной прелести, жуткой и заманчивой глубины потрясения. Всех нас, бывших в тот вечер, связало нечто сильнее нашей воли в рассеянную жизнь, но плотно связанную одним и тем же чувством группы людей тоски.

II

В июне прошлого года, ровно через десять лет после исчезновения Пленера, утром, когда я занимался в саду опытами с прививкой растениям некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску, – Дибак, мой брат, вошел через боковую калитку в сопровождении неизвестного пожилого человека, остановившегося на некотором расстоянии от клумбы. Я не сразу обратил внимание на возбужденное лицо брата; помню, что только его нервный смех заставил меня пристально посмотреть на обоих. Я вытер запачканные землей руки и поклонился.

– Атлей, – сказал брат, оборачиваясь в сторону неизвестного, – это Пленер.

Должно быть, кровь ударила мне в голову при этих словах, потому что, не более как на один момент, ясное небо затуманилось и задрожало перед моими глазами. Помню, что, когда я заговорил, голос мой звучал слабо и глухо. Я сказал:

– Вот шутник. Подумайте, Пленер, что он говорит!! Возможно ли это? Как ваше здоровье?

Думаю, что эта чепуха внушила ему все же некоторое представление о моем состоянии. Пленер неопределенно улыбнулся, но не сказал ничего; может быть, он считал свое положение в некотором роде щекотливым и странным.

Я рассмотрел его трижды, пока он стоял на этом красноватом песке, освещенный солнцем и зелеными отблесками акаций. Пленер изменился, как может измениться человек, перевернувший свою жизнь. В густых, темных волосах его пестрела седина, лицо утратило женственную нежность кожи; темное, осунувшееся, но с бодрыми складками вокруг глаз, оно напоминало портрет старинной живописи. В дорожном светлом костюме, могучий и статный, стоял он предо мной – все-таки он, Пленер.

Мы молчали. Удивляюсь, как я не забросал его обычными в таких случаях вопросами. Диббах сказал:

– Я ухажу, Атлей, Зелла смеется и плачет, нельзя оставлять ее одну. Сегодняшний день мы будем помнить всю жизнь.

Он направился к калитке, и я в первый раз в жизни увидел, как тучный, семейный человек может лететь вприпрыжку.

Тот миг чудесного напряжения, когда мы остались вдвоем, сели на скамейку и начали говорить, – кажется мне и теперь обвеянным зноем летнего утра; сказочные стада представлений бродили в моей голове, я мог только улыбаться и кивать головой. Пленер сказал:

– Не нужно вопросов, Атлей; они будут бесполезны в точном смысле этого слова. Я ничего не знаю, но все-таки попытаюсь рассказать вам начало истории.

Как вы помните, я пел в роще, неподалеку от железнодорожного моста, где происходил пикник. Собственно говоря, начало моих воспоминаний служит и концом их.

Мне кажется, что не было этих десяти лет, по крайней мере, в моей памяти не осталось от этого периода никаких следов. В следующий, доступный воспроизведению словами, момент я увидел себя пассажиром второго класса за двести миль отсюда; я возвращался домой.

Момент не был тревожен и поразителен, я удивился, и только. По временам мне казалось, что я уехал лишь вчера, по делу, о котором забыл.

Поезд мчался; томление духа сменилось глубокой рассеянностью и сонливостью; перед вечером я посмотрел в зеркало и обернулся, ища глазами другого пассажира, но я был один в купе. Неожиданность взволновала меня, я снова посмотрел в зеркало. Это был я, изменившийся, поседевший, тот самый, что сидит перед вами.

Пленер умолк и застенчиво улыбнулся. Взволнованный не меньше его, я мог только жестами выразить свое сочувствие и удивление.

– Встреча с Зеллой, – продолжал он, – непровержимый факт долгого отсутствия, усвоенный, наконец, мною. Рассказать все это, значит снова пережить странную смесь радостного ужаса и тоски. Меня не хватит на это, я разрыдаюсь. Между прочим, вот уже три дня, как я здесь. Меня мучит новое ощущение – болезненное желание вспомнить все, пережитое за те таинственные десять лет; желание, доходящее до галлюцинации, до грандиозной игры воображения. Вы знаете, мне кажется, что если это удастся, жизнь моя будет озарена таким светом, перед которым радость спасения жизни – то же, что блеск металлической пластинки перед солнцем. Это – ясное, устойчивое, музыкальное ощущение забытого прекрасного.

Он снова умолк, и я не осмелился прервать его тягостное молчание. Искренность его тона делала для меня излишними всякие сомнения. Необычайность положения почти раздавила меня; сад, знакомые аллеи, клумбы – все, что имело до сих пор будничные оттенки, казалось в тот час торжественным и странным, как этот человек, вернувшийся из позабытого мира.

– Я делал попытки вспомнить, – продолжал он, – но все оказалось неудачным. Дубовая роща и поезд, поезд и роща – вот все, что я знаю.

Не знаю почему – в этот момент я решил произвести попытку, которая показалась бы в другое время забавной, но тогда она имела в моих глазах решающее значение. Я сказал:

– Пленер, можете вы представить дубовую рощу в том виде, как это было вечером?

– Да, – сказал он, закрывая глаза, – я ясно вижу ее. Низкие ветви: сквозь них блестит река. Я стоял у большого дерева, лицом к воде.

– Вот так, – заметил я, вставая. – Правая ваша рука прикрывала глаза. Я попросил бы вас встать в этом положении.

Он пристально следил за моими движениями, сомнительно склонив голову, и вдруг, как бы внутренне соглашаясь со мной, встал посредине площадки. Правая его рука нерешительно приподнялась и прикрыла верхнюю часть лица.

– Пленер, – сказал я, – сзади вас, на примятой траве, сидит Зелла. Еще дальше – Диббах, я и другие. Ваша верховая лошадь бродит у ручья, слева. Так.

Он молча кивнул головой, не отнимая руки. Теперь он понимал мою мысль.

– Вы пели о «Графе в изгнании», – продолжал я. – Советую вам начать с первой строки. Ну, Пленер, милый!

Он запел, и голос его задрожал, как тогда, в роще:

Земля не принимает моих следов, Они слишком легки...

Песня окрепла и зазвучала так полно, что я боялся пошевелинуться. Напряжение мое было слишком велико, я ждал чуда.

Отдельные моменты этой сцены сливаются в моем воспоминании в ощущение чужой, мучительной радости. Когда он дошел до слов:

Вы вспомните мою тоску – и благословите ее...

И дальше, до заключительных:

Я уйду от грустных улыбок –
Для полноты торжества
Над теми, кто дешево сожалеет –
И трусливо царит...

Лицо его повернулось ко мне. Он смеялся долгим счастливым смехом, сотрясаясь от глухих слез, вызванных ярким и внезапным воспоминанием.

Приблизительно через месяц, в одну из красивых ночей, Пленер рассказал мне свою забытую и воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем. Любил, был любим, путешествовал, испытал много оригинальных приключений и впечатлений. Но он в тот день, когда пел у меня в саду, вспомнил только радостные моменты прошлого. Теневая сторона жизни осталась для него по-прежнему забытой и – навсегда.

Если это неудача, то пусть она будет благословенна. Избранных, способных воскресить радость пройденного пути и щедро, как миллионер, забыть долги жизни – совсем немного. Пусть будет больше одним таким человеком.

Наследство Пик-Мика

- Посмотрим, что написал этот человек! Этот чудак!
- Держу пари, что здесь больше всего прихода-расходных цифр!
- Или черновиков от писем!
- Или альбомных стихотворений!

Такие и им подобные возгласы раздались в моей комнате, когда мы, друзья умершего три дня назад Пик-Мика, собрались за ярко освещенным столом. Все сгорали от нетерпения. В завещании, очень лаконичном и не возбуждившем никаких споров, было сказано ясно: «Записки мои я, нижеподписавшийся, оставляю всем моим добрым приятелям, для совместного прочтения вслух. Если то, что собрано и записано мной на протяжении пятнадцати лет жизни, им придется по вкусу, то каждый из них должен почтить меня бутылкой вина, выпитой за свой счет и в неизменном присутствии моей собаки, пуделя Мика».

Это место из завещания вспомнили все, когда толстая, прошнурованная тетрадь была вытащена мной из бокового кармана. На столе ярко горели старинные канделябры, часы весело болтали маятником и шесть заранее приготовленных бутылок вина светились темным золотом между кофейным прибором и ароматным паштетом.

Все закурили сигары, располагаясь как кому было удобнее. Читать должен был я. Прошла минута сосредоточенного молчания – время, необходимое для того, чтобы откашляться, провести рукой по волосам и придать лицу строгое выражение, не допускающее перебиваний и шуток.

Я развернул тетрадь и громко прочел заглавие первого происшествия, описанного нашим милым покойником. И в тот же момент легкая как туман, задумчивая фигура Пик-Мика в длинном, наглухо застегнутом сюртуке вышла и села за стол.

Ночная прогулка

День отвратителен, не стоит говорить о нем; поговорим лучше о ночи. Все, кто встает рано, любуясь восходом солнца, заслуживают снисхождения, не больше; глупцы, они меняют на сомнительное золото дня настоящий черный алмаз ночи. Отсутствие света пугает их; проснувшись в темноте, они зажигают свечу, как будто могут увидеть иное, чем днем. Иное, чем стены, знакомая обстановка, графин с водой и часы. Если им нужно выпить немного валериановых капель, – это еще извинительно. Но бояться, что не увидишь давно знакомое – есть ли смысл в этом?

Всегда пропасть – мглистая, синяя, серебряная и черная – ночь. Царство тревожных душ! Простор смятению! Невыплаканные слезы о красоте! Нагие сердца, сияющие отвратительным блеском, тусклые взоры убийц, причудливые и прелестные сны, силуэты, намеченные карандашом мрака; рай, брошенный в грязь разгула, огромный кусок земли, спящий от утомления; вы – бесценные россыпи, материал для улыбок, источник чистосердечного веселья, потому что, клянусь хорошо вычищенными ботинками, я смеялся как следует только один раз и – ночью.

Нас было двое. Тот, о котором говорят он, спокойный, одетый изящнее придворного кавалера, хранил молчание. Я развлекал его. Новости, сплетни дня, забавные анекдоты падали с моих губ в его лакированную душу безостановочно. И тем не менее он был недоволен. Он хотел впечатлений пряных, эксцессов, смеха и удовольствия.

Пройдя мост, мы остановились против витрины ювелира. Электричество затопляло разноцветный град бриллиантов, застывших, как лед, в бархатных и атласных футлярах. Он долго смотрел на них, мысленно оценивая каждую штуку и внутренне облизываясь. И тихо сказал:

– Конечно, это – продажная человеческая душа. Крупнее – дороже.

Я стал смеяться, уверяя, что ничего подобного. Брильянты ввозятся преимущественно из Африки, их обдeldывают в гранильнях и шлифовальных, потом скупают. Но он продолжал как духовное лицо, печальным и строгим голосом:

– Да, да, можно провести полную параллель. Боже мой, если бы вы знали, как тонко я чувствую все окружающее меня. Но идем дальше, дальше от этой гробницы слез.

Я чувствовал, что начинаются колики, но благоразумно удержался от смеха. Это печальное человеческое животное тащило меня по тротуару от витрины к витрине, пока не остановилось перед решеткой гастрономического магазина. Консервы и прочая смесь дремали в сумраке. Он тихо пробормотал:

– Немножко усилия, немножко воображения, и это стекло покажет нам чудеса. Эти сельди и шпроты, – вернее, трупы их – не воскрешают ли они океан, свою родину, подводный мир, чудеса сказок? А эти вульгарные телячьи ножки – зелень лугов, фермы с красными крышами, загорелые лица крестьян, картины голландских живописцев, где хочется расцеловать коров, так они живы и энергичны.

Судорога перекосила мое лицо. Дрожа от скованного волей смеха, я выговорил:

– Не то! Не то!

– Да, – подтвердил он с видом человека, понимающего с первого слова мысли собеседника, – вы правы. Не то! Здесь что-то иное, быть может, думы о смерти. Я говорю не о гастрономической смерти, но на меня каждый остаток живого существа производит сложное впечатление.

Асфальт ясно отражал частые звуки шагов; шла девушка, одна из несчастных. Все нахальство, расточаемое на улицах, светилось в ее глазах, подрисованных тушью. Она была еще довольно свежа, стройна и поэтому имела естественное право заговаривать с незнакомыми.

– Мужчина, угости папироской! – сказала маленькая блудница.

Он внимательно посмотрел на ее лицо и вытащил портсигар.

– Конечно, – заговорил он, делаясь недоступным, – вы хотите не одну только папиросу. Вам хочется, чтобы я взял вас с собой в ресторан, заказал ужин, вино и заплатил вам десять рублей. Но это совершенно немыслимо, и вот почему. Во-первых, я боюсь заразиться, а во-вторых, мне недостаточно этого хочется. Что же касается папиросы – вот она, это финляндская папироса, десять копеек десяток. Видите, я говорю с вами вежливо, ничем не подчеркивая разницы нашего положения. Вы проститутка, живете скверной, уродливой жизнью и умрете в нищете, в больнице, или избитая насмерть, или сгнившая заживо. Я же человек общества, у меня есть умная, благородная, чистая жена и нервная интеллектуальная жизнь; кроме того, я человек обеспеченный. Жизнь без контрастов неинтересна, но все же ужасно, что есть проституция. Итак, вот папироса, дитя мое; смотрите – я сам зажигаю вам спичку. Я поступил хорошо.

Он взволнованно замолчал, боясь растрогаться. Девушка торопливо шла дальше, шаги ее падали в тишину уверенным, жестким звуком.

– Я вас презираю, – вдруг сказал он, выпуская клуб дыма. – Не знаю хорошенько за что, но мне кажется, что в вас есть что-то достойное презрения. В вас, вероятно, нет тех пропастей и глубин, которые есть во мне. Вы ограничены, это подсказывает мне наблюдение. Вы мелки, не далее как вчера вы торговались с извозчиком. Вы – мелкая человеческая дрянь, а я – человек.

– Ха-ха-ха! – разразился я так, что он подскочил на два фута. – Хи-хи-хи-хи-хи! Хе-хе-хе-хе! Хо-хо-хо-хо!

– Хо-хо! – сказал мрак.

Я плакал от смеха. Я бил себя в грудь и призывал бота в свидетели моего веселья. Я говорил себе: сосчитаю до десяти и остановлюсь, но безумный хохот тряс мое тело, как ветер – иву.

Он сдержанно пожал плечами и рассердился.

– Послушайте, это неприлично. Смотрите, прохожие остановились и показывают на вас пальцами. Глаза их делаются круглыми, как орехи. Уйдемте!

– Я люблю вас! – стонал я, ползая на коленях. – Позвольте мне поцеловать ваши ноги! Солнце мое!

Он не слушал. Он презрительно отвергал мою любовь, так же, как отверг бы ненависть. Он был величествен. Он был прекрасен. Он смотрел в глаза мраку, призывая восход, жалкую струю мутного света, убийцу ночи.

Тогда я убил его широким каталанским ножом. Но он воскрес прежде, чем высохла кровь на лезвии, и высокомерно спросил:

– Чем могу служить?

Изумленный, я стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежливо улыбался. Тогда пришла моя очередь рассердиться.

– Пропадай, черт с тобой! – закричал я. – Брильянты! Телячьи ножки! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!

Он повернулся три раза, сделал книксен и вдруг расплылся в широчайшей сладкой улыбке. Она дрожала в воздухе, черная, как лицо негра. Потом просветлела, тронула крыши и купола церковей розоватыми углами губ, опустилась бледным туманом и проглотила город.

Интермедия

Я человек ленивый, и для того, чтобы раскачаться записать что-нибудь, должен пережить или услышать настоящее событие. Каждый понимает это слово по-своему; я предпочитаю означать им все, что мне нравится. С этой и, по-моему, единственно правильной точки зрения, хороший обед – событие. Точно так же я назову событием встречу с человеком, одетым в красное с головы до ног. Это было бы ново, мило, а значит и занимательно.

В один из осенних вечеров я вышел на перекресток двух плохо освещенных, грязных улиц, населенных рабочими и жуликами. Я не знал, зачем и куда иду, мне просто хотелось двигаться. Деревья чахоточного бульвара сонно чернели у фонарей. Жидкий свет окон пестрил тьму; пустынные тротуары напоминали заброшенные дороги. Сырой воздух охлаждал щеки, в переулках и под арками ворот скользили беззвучные силуэты. Вдали, над вокзалом сиял белым пламенем электрический шар; одинокий глаз тьмы, мертвый свет, придуманный человеком.

Ничто не нарушало печали и оцепенения ночи; жители квартала сидели за гнилыми стенами; одиночество бродяг для них было роскошью; они уважали людей, имеющих собственные кровати. Я шел, покуривая и мурлыкая. Мне было хорошо; день, поэзия инфузорий, умер на западе в семь часов вечера. Я похоронил его, я справлял его тризну прогулкой и легкомыслием. Ночь – царственное наследство дня, стотысячный чулок скряги, умершего с голода, – я люблю твой черный костюм джентльмена и презираю базарную пестроту.

Вы, знающие меня, простите это маленькое, невольное отступление. Я шел минут пять по тротуару и вышел на перекресток. Здесь неподвижно и деловито стояла женщина, держа в руках большой черный предмет. Посмотрев на нее, я тронулся дальше и оглянулся. Она продолжала стоять. Я остановился, вынул сигару; не торопясь закурил, прислонился к соседней стенке и две-три минуты дымил как дымовая труба. Она стояла.

И я побился об заклад сам с собой, что не уйду раньше ее. Моросил дождь, взрывы ветра проносились по улице. Она все стояла, терпеливо и молча. Рядом с ней чернела пустая скамейка; она не садилась. Тогда я бросил сигару и подошел к этой чудачке, одетой в сильно поношенное платье; с грязной измятой шляпы ее текла вода. Бледное, решительное лицо, и глаза полные страха. Свободной рукой она сделала движение, как бы отстраняя меня. Обдумав первый вопрос, я приступил к делу.

– Сударыня, – сказал я, – не знаете ли вы дороги к Новому рынку? Я только что приехал и не имею никакого представления о расположении города.

Дрожа и заикаясь, она выговорила:

– Налево... затем... прямо... затем...

– Хорошо, благодарю вас. Какой дождь, а?

– Да... дождь...

– Ну, что же, – сказал я, начиная терять терпение, – вы сами-то не заблудились, милая?

В ответ на это можно было ожидать чего угодно, и я заранее приготовился к какой-нибудь дерзости. Она вправе была послать меня к черту или попросить оставить ее в покое. Но она молчала. Лицо ее изменилось до неузнаваемости, губы тряслись; холодный, тоскливый ужас пылал в глазах, устремленных на меня с тупой покорностью животного, ожидающего удара.

Неприятное ощущение пронизало меня до корней волос. Я терялся, я начинал дрожать сам. Вдруг она сказала:

– Я продаю петуха.

Машинально, не обратив внимания на странность этого заявления, я спросил:

– Петуха? Где же он?

Женщина подняла руки. Действительно у нее был петух, связанный, обмотанный плотной сеткой. Я потрогал его рукой, теплота птицы убедила меня. Это был настоящий, живой петух.

Пораженный, смущенный, теряясь в соображениях, я силился улыбнуться. Я не знал, что сказать. Мне казалось, что со мной шутят. Я думал, что сплю. Я готов был вспылить и выругаться или купить этого петуха. Один момент мне пришло в голову попросить извинения и уйти.

Вдруг совершенно ясная, неоспоримая истина положения поставила меня на ноги. Роль сатаны не хуже всех остальных, посмотрим. Эта женщина продает петуха, купим его дороже.

И я заявил:

– Петух мне нравится. Я даю вам за него десять рублей.

– Нет, – сказала испуганная женщина. – Один рубль.

– Может быть, вы возьмете сто? Сто новеньких, тяжелых рублей, подумайте хорошенько. Вы наймете чистенькую, уютную квартирку, купите стулья, горшки с душистым горошком, комод, новое платье себе и праздничный костюм мужу. Потом вы найдете место. У вас будет все готовое, вы не будете откладывать жалованья на обустройство домашним хозяйством. Кроме того, вы пойдете в ближайшее воскресенье в театр, где играет музыка и показывают разные смешные и трогательные вещи. Разве все это плохо?

– Нет, – выкрикнула она, – ни за что, ни за какие блага в мире! Один рубль.

– Позвольте, – продолжал я, – мы можем сойтись иначе. Я дам вам тысячу.

Она вздохнула и отрицательно покачала головой. Какие дикие образы толпились в ее мозгу? Она была жалка и страшна, крупный пот стекал по ее щекам; вся во власти овладевших ею представлений, она видела только одно, загадочную серебряную монету, и выдерживала битву, шатаясь от слабости. Я набавлял цену, увлекаясь сам; я сыпал тысячами.

– Двадцать тысяч, – хотите?

– Нет.

– Тридцать.

– Нет.

– Вы заблуждаетесь. Вы отказываетесь от счастья. Каменный трехэтажный дом, картины, дорогие цветы, паркет, рояль лучшей фабрики, собственный экипаж, лошади.

– Нет.

– Я дам вам сколько хотите. Вы будете в состоянии пить вино – ценою на вес золота; земля превратится в рай, самые лакомые, дорогие кушанья будут ожидать вашего выбора, ваш

каприз будет законом, желание – действительностью, слово – могуществом. Глетчеры, вулканы, острова тропиков, льды Полярного круга, средневековые города, развалины Греции – этого вы в грош не ставите? У вас будут дворцы, слышите вы, жертва клопов и голода? Дворцы! Самые настоящие. Вы можете их украсить, как вам угодно.

Но она упорно мотала головой и, хрипло, задыхаясь от волнения, твердила, как помешанная:

– Рубль. Рубль.

– Ну, что же, – сказал я, стараясь придать голосу ироническую беспечность, – я умываю руки. Вы хотите непременно рубль – нате. Только вашего петуха я не возьму. Он стар и, конечно, тверд как подошва. Зажарьте его и скушайте за мое здоровье.

Я вытащил из жилетного кармана пять двадцатикопеечных монет. Она отшатнулась, неожиданность лишила ее всякой опоры. Беспомощная победительница умоляюще смотрела на меня, она хотела рубль.

– Что же вы? – спросил я. – Вот рубль.

– О, – простонала она. – Не так, сударь, не так. Серебряный, неразменный.

– Таких нет, – возразил я, – берите, что дают. Жалею, от души жалею, что я не черт. Я – Пик-Мик. Поняли? Прощайте. Если вам будет невтерпеж, купите на последние деньги связку старых ключей и действуйте. Или, быть может, вы желаете честно умереть с голода? Дело ваше. Посмотрите на петуха. Он смотрит на вас с глубоким отчаянием. Для кого же, как не для вас, кричит он три раза в ночь и последний раз – на рассвете? Подумайте только, как сладко спят на рассвете все, охраняющие свое добро.

Я раскланялся и ушел. Дома мне долго не удавалось заснуть; беспокойные уродливые кошмары толпились вокруг кровати; стук маятника гулко разносился в пустых комнатах. То бодрствующий, то погруженный в тяжелое забытие, я лежал как пласт, и ночь, казалось, упорно не хотела принести мне успокоение.

Окно в спальню было отворено. Дерзкий получеловеческий голос поднял меня с кровати; протирая отяжелевшие глаза, я подошел к окну. Грязное белье тумана заволакивало серые силуэты крыш; брезжил рассвет. Осенняя кровь солнца расплывалась на горизонте, резкий холод освежал легкие. Снова крик простуженного человека взвился над городом; это на соседней ферме упражнялись петухи, перебивая друг друга; в их голосах чувствовались тепло курятника и необъяснимая, сонная тревога. Одинокие, сгорбленные фигуры переходили улицу; как мыши, они скользили вдоль стен и проваливались.

Утром, пробегая газету, я нашел несколько сообщений, извещавших о похищении собственности. Моя случайная ночная приятельница, не была ли и ты действующим лицом? Если так, то ты не ошиблась, и я был сатаной на час, потому что где же уверенность, что все мы не маленькие черти, мы, строящие неумолимо логические заключения?

На американских горах

– Я очень люблю сильные ощущения, – сказал мне под искусственной пальмой кафешантана человек с проседью. Он сильно жестикулировал. Я никогда не видел человека с таким разнообразием жестов. Его руки, пальцы, плечи, брови и даже уши приходили в движение при каждом слове. Прежде чем сказать что-либо, он разыгрывал целую мимическую сцену, выразительно блестя впальными глазами.

Я был страшно недоволен его обществом. Нервные люди стоили мне полжизни. Однако, подсев сам, он не думал раскланяться и уйти.

В это время, т. е. когда я размышлял о смысле существования человека с проседью, заиграла музыка. Военный, кровожадный марш сделал меня на десять минут поручиком фанта-

стического полка, гуляющего по аллеям сада в цветных шляпах, смокингах и мундирах. Мой новый знакомый барабанил пальцами по столу. Я сказал:

– Если вы сядете вон в ту вагонетку, которая на шестиэтажной высоте головокружительно звенит рельсами, то испытаете те глубокие ощущения, которые вам угодно назвать сильными.

– Пожалуй, – согласился он. – С вами?

– Все равно.

– Я был офицером, играл в кукушку, – заметил он, довольно смеясь.

– Это хорошо, – сказал я.

– Я также тонул три раза.

– Совсем недурно.

– Был ранен во время военных действий.

– Какая прелесть!

Он больше ничего не сообщил мне, но я понял, что этот человек любит тонуть, быть раненым и стрелять из-за угла в темноте, играя в кукушку. Именно эти оригинальные наклонности и были причиной гибели человека с проседью.

Мы подошли к кассе. Над головой нашей, в свете электрических лун, в ущельях страшной крутизны, сделанных из цемента и железа, мелькали, взвиваясь и падая, вагонетки, переполненные народом. Сплошной заунывный визг женщин, напоминающий предсмертные вопли тонущих лошадей, оглашал сад.

– Женщины трусливы, – сентенциозно заметил человек с проседью.

Мы сели. Он стал курить, нервно пощипывая бородку, оглядываясь и вздыхая. За моей спиной, хихикнув, взвизгнула барышня.

Мы тронулись сначала тихо, затем быстрее, и через несколько секунд три-четыре сорванных ветром шляпы, пролетев мимо меня, покатались в глубину грота.

Нас окружила темнота, затем, сделав крутой на светлом повороте скачок, вагонетка стремительно полетела вниз. Подлое ощущение холода в спине и остановка дыхания заняли меня на пять-шесть секунд, пока продолжалось падение; после этого я по такому же крутому склону птицей взлетел на вершину горы, тяжело вздохнул и, похолодев, снова камнем полетел во тьму, придерживаясь руками за сидение. Это неприятное развлечение повторилось два раза, после чего, отдохнув в медленном кружении на краю обрыва, вагонетка помчалась с быстротой пули, доставляя мне те же самые ненужные болезненные впечатления полной беспомощности и неизвестности, – выкинет меня или я усажу до конца, встав пьяным от головокружения.

Повернув голову, я смотрел на человека с проседью. Широко открытые глаза его остановились на мне с выражением недоумения, какое свойственно внезапно получившему удар человеку.

– Я сейчас умру, – хрипло сказал он, – сердце...

– Порок?

– Да.

– Сколько лет?

– Четыре.

– А завещание?

– Нет завещания, – сердито прокричал он, – у меня кролики.

Почувствовав жалость, я крикнул:

– Остановите.

Услышать проводнику что-либо в грохоте цементного тоннеля было немислимо. Мой спутник сказал:

– Отлегло; на всякий случай...

– Конечно.

– Мой адрес.

Я взял визитную карточку. Он, схватившись за грудь, продолжал выкрикивать испуганным голосом:

- Я развожу кроликов.
- Пушистые зверьки, – пробормотал я.
- Кроликов калифорнийских перевести на другую ферму.
- Слушаюсь.
- Кроликов кентерберийских...
- Запомнил.
- Кроликов австралийских...
- Понимаю.
- Кроликов бельгийских...
- Слышу.
- Кроликов австрийских...
- Ясно.
- Этих кроликов не продавать, – застонал он, стигбаясь.
- Будет передано, – внимательно сказал я.
- Кроликов йоркширской породы кормить смесью.
- Хорошо.
- Венгерских кочерыжками, пять пучков.
- Отлично.
- Нет, я не умру, – сказал он, отдуваясь, и мы снова ринулись в темноту. – Нет, умру.

Секунд пять мы молчали. Вагонетка взлетела на самую вершину дьявольского сооружения, а затем, почти отделяясь от рельс, повалилась к мелькающим внизу огням сада.

– Умираю! – крикнул человек с проседью. – Скажите управляющему... что мои последние слова... чтобы он кроликов моих... есть не смел!

Он поднял руки, брови, помотал головой и свалился к моим ногам.

Еще несколько секунд продолжалась бешеная игра вагонетки, огненные кролики прыгали в моих глазах, и наконец все кончилось.

Я встал, пошатываясь. Толпа народа собралась вокруг мертвого тела, и шум ночного веселья перешел в похоронную тишину. Я же ушел, думая о кроликах. Кончилась прекрасная, содержательная жизнь, а вместе с ней и благополучие – как их... этих... кентерберийских...

Событие

Я люблю грязь кабаков, потные физиономии пьяниц, треснувшие блюда с подгнившими бутербродами, бульканье алкоголя, визг непотребных девок, наготу ничем не прикрашенных желудка и похоти, толпу у стойки, чахоточный граммофон и тусклый свет газа. Часто, возвращаясь со службы, изящно одетый господин с портфелем под мышкой, – я захожу в какой-нибудь ревущий пьяными голосами притон и выпиваю водки на гривенник из толстого граненого стаканчика, захватанного мужицкими пальцами.

Я любитель контрастов. Грязная человеческая пестрота приводит меня в неподдельное восхищение, истинная природа человека становится здесь яснее, чем там, где привычка не чавкать за обедом дает право на звание культурного человека. Наше скучное общество, тщательно скрывающее от самого себя свою настоящую сущность, могло бы многому поучиться у наивного цинизма продажных женщин и жуликов. В среде, далекой от кодекса нравственных и прочих приличий, чувствуется веяние элементарной животной правды есть, пить и любить, – нечто неопровержимое, но для некоторых здоровенных, краснощеких господ еще нуждающееся в доказательствах, потому что они опились, объелись и перелюбили.

Неделю тому назад в двенадцатом часу ночи я возвращался домой. Пустые улицы дышали осенним холодом, мрак скупно блестел точками фонарей, и мне было грустно. Я рассуждал о себе. Я приходил к заключению, что моя жизнь складывается не из событий, а из дней. Событий – потрясающих, счастливых, страшных, веселых – не было. Если сравнить мою жизнь с обеденным столом, то на нем никогда не появлялись цветы, никогда не загоралась скатерть, не разбивалась посуда, не просыпалась соль. Ничего. Бряканье ложек. А дней много: число 365, умноженное на 40.

Я становился смешным в своих глазах и внутренне кипятился. Лицо мое приняло желчное выражение. Меня называли угрюмым. Я тщетно старался создавать события. Пять лет назад я собирал марки; все разновидности их достались мне чрезвычайно легко, кроме одной – Гвиана 79 года. Рисунок этого почтового знака, виденный мною в одном из специальных журналов, был фантастичен и великолепен, но из всех моих поисков не вышло события. Марки я не нашел и сжег альбом. Потом, с течением времени, симпатии мои перешли на птиц. Но синицы, о которой я мечтал три года, синицы, способной петь сорок секунд, не позволил приобрести мой карман. Я рассказываю это в качестве примера поисков за событием. Грустное зрелище представляет человек, похожий на тележку, поставленную на рельсы. Кем придумано выражение «как сыр в масле» – идеал безмятежного прозябания? Автор его был, вероятно, крайне несчастное существо – молочный фермер.

Я шел, светились кабачки. Там было вино, жидкость, способная превращать грусть простую – в грусть сладкую, и даже (особенность человека) – самодовольную. Быть может, пьяный калека не без тайного удовольствия сознает свои индивидуальные особенности. Там, где гений говорит: «я – гений», калека может сказать с достоинством: «я – калека». До некоторой степени вино уравнивает людей; человек, от которого пахнет водкой, счастлив прежде всего удесятеренным сознанием самого себя. В наивысшем градусе опьянения рука желания не достает до потолка счастья на один сантиметр.

Итак, я зашел, и огненная жидкость наполнила мой желудок. Было светло, шумно; оркестрион играл прелестную арию Травиаты, похожую на тихий поцелуй женщины, или пейзаж, с которым вы связаны отдаленными, волнующими воспоминаниями. К моему столику подсел матрос, несколько пьянее меня; он спросил закурить. Я небрежно протянул ему выхолченную руку с зажженной спичкой. Он икнул, с шумом выпустил воздух и сказал:

– Д-да...

– Да, – повторил я. – Да, милый друг, да.

Какая-то упорная мысль преследовала его. Человек, сказавший «да» самому себе, отягощен кипением мыслей; это – кряхтение нагруженной души. Я молчал, он осклабился, повторяя:

– Д-да. Д-да.

Из дальнейшего выяснилось, что человек этот проломил жене голову утюгом. Странный способ выражения супружеской нежности! Но это несомненно была нежность, потому что ряд сбивчивых фраз этого господина с фотографической точностью нарисовал мне его портрет. Он был морж (из зоологии известно, что в припадке нежности морж бьет самку клыками по голове) и «по-моржовски» обходился с супругой. Во время разговора я пил подлую смесь лимонада с английской горькой. Он сказал:

– Д-да.

Я, выведенный из терпения, не противоречил. Наконец, он стал разгружаться.

– Видите ли, – прохрипел он, – я не того... д-да... Она, надо вам сказать, рыжая. Я люблю ее больше чем «Муравья», хотя, клянусь дедушкой сатаны, посмотрели бы вы на «Муравья» в галсе – красота, почище военного корабля. И вот я сидел... и она сидела... того... и у меня в душе кипит настоящий вар. Такая она милая, господин, что взял бы да раздавил. Она говорит: – «Чего ты?» – «Люблю я тебя, – говорю, – оттого и реву». – «Брось, – говорит, – миленький, ты, – говорит, – того... самый мне дорогой». От этих слов я не знал что делать. Слов у меня...

того... таких нужных нет... понимаете? А сердце рвется... вот, как полная бочка всхлипывает. Сидел я, сидел... слезы у нас того... у обоих... Такая меня тоска взяла, не знаю, что делать. Утюг лежал на столе. Впал я в полное бешенство. Ударил ее. Она говорит: – «Ты с ума сошел?» Кровь и все такое. Того... видите ли, я не был пьян, то есть ни-ни. Да.

Конечно, тросы и якоря отучили моржа выражать свои чувства несколько деликатнее. Ему нужен был выход; человек, охваченный пламенем, не всегда ищет дверей, он вспоминает и об окошках. Как бы то ни было, я почувствовал к моржу уважение, смешанное с завистью. Любовь, напоминающая новеллы, и утюг – это событие.

– Да, – сказал я, барабанив пальцами по столу. – Что такое бегучий такелаж?

К моему удивлению, собеседник подробно и бойко, не мямля, как пять минут тому назад, растолковал мне, что бегучий такелаж – подвижные корабельные снасти. Этот предмет он знал. Слово «того» исчезло. Вслед за этим он захмелел и упал на стол. Я же пошел домой и, поравнявшись с буфетом, вспомнил, что нужно захватить с собой бутылку вина.

Пока я покачивался у стойки, багровое лицо буфетчика приняло колоссальные размеры. Я с любопытством следил за ростом его головы, она распухала, толстела и через минуту должна была отвалиться прочь, не выдержав собственной тяжести. Буфетчик завернул бутылку в обрывок газеты и подал мне.

– Приятель, – сказал я, – следите за своей головой. Если она упадет, это будет событие, перед которым померкнет даже то, что я слышал сегодня, а, клянусь вашим папашей, я не слышал более забавной истории.

Вечер

Мне не на что жаловаться. Я здоров, обладаю прекрасным зрением и живу больше воображаемой, чем действительной жизнью.

Но каждый вечер, когда золото и кармин запада покрываются пеплом сумерек, я испытываю безотчетное, жестокое нарастание ужаса. Вокруг меня все, по-видимому, спокойно; ритмически стучит колесо жизни, и самый стук его делается незаметным, как стук маятника. Земля неподвижна. Законы дня и ночи незыблемы. Но я боюсь.

Вчера вечером, как и всегда, я сел за письменный стол. Мне предстояла сложная работа по отчетности торгового учреждения. Но вместо цифр мои мысли носились вокруг отрывочных представлений, в которых я сам отсутствовал; вернее, представления эти существовали как бы помимо меня. Я видел черную, стремительно убегающую воду, красные фонарики, военный корабль, кусок болота, освещенный рефлектором. Серебристые острия осоки бросали в воду черные линии теней; неподвижная, словно вылитая из зеленой бронзы, лягушка пучила близорукие глаза. Затем какое-то странное, волосатое существо бежало, вздымая пыль, и я довольно отчетливо видел его босые ноги. Постепенно все перемешалось, нежные оттенки цветов раскинулись в прихотливый луг, прозвучала пыльная мелодия индусского марша. Рассеянным движением я занес в графу цифру и остановился, следя за перепончатыми желтыми крыльями. Они мелькали довольно долго. Выбросив их из головы, я откинулся в глубину кресла и стал курить.

Я думал уже, что это досадное состояние, являвшееся естественной реакцией мозга против сухой счетной работы, кончилось, как вдруг маленькое кольцо дыма вытянулось на уровне моих глаз и стало человеческим профилем. Это были кроткие черты благовоспитанной молодой девушки, но в хитро поджатых губах и скошенном взгляде таилось что-то необъяснимо омерзительное. Дым растаял, и я почувствовал, что работать не в состоянии. Самая мысль об усилии казалась противной. Вид письменного стола наводил скуку. Мыслей не было. Все вещи стали чужими и ненужными, точно их принесли насильно. Мне было тесно, я испытывал почти физическую неловкость от близости стен, мебели и разных давно знакомых предметов...

Мне ничего не хотелось, и вместе с тем томительное состояние бездеятельности разрасталось в глухую тревогу и нетерпение.

Я должен упомянуть еще раз, что мозг мой совершенно прекратил логическую работу. Мысль исчезла. Я был чувствующей себя материей. Комната и все предметы, находившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом – тупо и безотчетно. Я не был центром; чувство психологической устойчивости распределилось равномерно на все, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций. Потребность двигаться была первой, хотя довольно туманно осознанной мной потребностью; я встал, безучастно подержал в руках книгу и положил ее на прежнее место.

Это, очевидно, не удовлетворило меня, потому что в следующий затем момент я принялся рассматривать рисунок обоев, внимательно фиксируя белые и малиновые лепестки фантастических венчиков. Затем вынул из подсвечника огарок стеариновой свечи и стал сверлить его перочинным ножиком, добираясь до фитиля. Мягкое хрустение стеарина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечеркивая их кривыми, равномерно уменьшающимися линиями, положил карандаш, оглянулся, и вдруг сильное, необъяснимое беспокойство сделало меня легким, как резиновый мяч.

Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мертвая тишина стояла вокруг. С улицы сквозь плотно закупоренное окно не доносилось ни одного звука. Тишина эта была ненужной, как были бы не нужны для меня в то время шум улицы, песня, гром музыки. Ненужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стулья, книги, пепельница и оконные занавески. Я не чувствовал надобности ни в чем, кроме тоскливого и бесцельного желания двигаться.

В это время я не испытывал еще никакого страха. Он появился с первым биением пульса мысли, с ее развитием. Я не мог уловить точно этот момент, помню лишь стремительно выросшее сознание полной и абсолютной ненужности всего. Я как будто терял всякую способность ассоциации. Все, вплоть до брошенного окурка, существовало самостоятельно, без всякого отношения ко мне. Я был один, сам ненужный всему, и это – «все» было для меня лишним. Я был в совершенной холодной пустыне одиночества, несуществующий, тень самого себя, потому что даже мое «я» было мне нужно не больше прошлогоднего снега.

Тогда острейшее чувство одиночества – ужас хлынул в жадную пустоту духа. Я растворился в нем без упрека и сожаления, потому что нечего сожалеть и не к кому обращать упреки. Так будет каждый вечер и так должно быть.

– Я борюсь, – сказал я, дрожа от мерзкого страха, – но пусть будет по-твоему. Природа не терпит пустоты, а у меня нет ничего лучшего подарить ей. Мы квиты.

И темная вода ужаса сомкнулась над моей головой.

Арвентур

Это было в то время, когда у человека начинает отцветать сердце, и он мечется по земле, полный смутных видений, музыки горя и ужаса. Тот день запомнить нетрудно, в моей памяти нет дней страшнее и блаженней его, долгого дня тоски.

Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар, ища тени; мухи преследовали меня; воздух стонал от грохота экипажей. Пиво согревалось в стакане раньше, чем выпивалось; все было отвратительно. Тоска терзала, улицы наводили зевоту, люди – апатию; сидя на запыленной скамейке, я рассеянно провожал глазами их механические фигуры. Гнетущее однообразие лиц, костюмов и жестов действовало удручающе. Мысли прыгали, как мальчишки, играющие в чехарду. И вдруг – звонким, далеким возгласом вспыхнуло это роковое, преследующее меня слово:

– Арвентур.

Я повторил его, разделяя слоги:

– Ар-вен-тур. Ар-вен-тур.

Оно остановилось, засело в мозгу, приковало к себе внимание. Оно звучало приятно и немного таинственно, в нем слышалось спокойное обещание. Арвентур – это все равно, как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими ласковыми глазами.

Несколько раз подряд, беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв. В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность; бесконечное утешение, отделенное пропастью. Я был бессилён понять его и мучился, пораженный грустью. Арвентур! Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отверг эту мысль. Но что же это? И где?

Волны ужасного напряжения вставали, падая вновь, как раненые солдаты. Ничего не было. Хоровод смутных видений приближался и убегал, полный неясных контуров, расплывающихся в тумане. Арвентур! Слово это притягивало меня. Оно, как нечто живое, существовало вне мысли. И я тщетно стремился охватить его взрывом сознания. В самом звуке слова было нечто, не позволяющее сомневаться в его праве на существование. Арвентур!

Я сделал несколько шагов по бульвару. Быть может, это название местечка, деревни, слышанное мною раньше? В моей стране таких имен нет. Возможно, что оно прочитано в книге. Почему же тогда, прочитанное, оно не вызвало такой глубокой и нежной грусти? Арвентур!

Взволнованный, я напряженно твердил это слово. Какой далекой, полной радостью веяло от него! Чужие страны развертывались перед глазами. Смуглые, смеющиеся люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов.

– Арвентур, – говорили они. – Там Арвентур.

Рассеянный, в подавленном настроении, я вышел на набережную. Навстречу попадались много знакомых: мы строили любезнейшие гримасы, облегченно вздыхали и расходились. Арвентур! – это звенело как воспоминание далекой любви. А за него, вызванное припадком тоски, цеплялось прошлое. Но в прошлом не было ничего, что нельзя было бы выразить иначе, чем ясным человеческим языком. Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших кладовые души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? Утка на лебедином яйце могла бы мне посочувствовать. Арвентур!

Вечером на ужине у знакомых я беспомощно улыбался и говорил, что простужен. Я ел, презирая себя. Пил, мысленно давая себе пощечины. Три человека спорили о новом налоге. Еще три, наклонившись друг к другу, шептали двусмысленности, прыскавая в соус. Приятная дама с усиками старалась незаметно вытереть локоть, мокрый от жира. Сосед мой, с головой, напоминающей редьку, обратился ко мне:

– Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому вопросу у меня лежит совершенно готовая статья, я думаю послать ее в «Торгово-Промышленный Журнал». Система налогов ведет к разврату и авантюризму.

– Арвентур! – сказал я, впервые чувствуя, что вино крепковато.

Прошла минута молчания. Мы пристально смотрели друг другу в глаза. Он мялся. Он притворился непонимающим. Он начал снова свою идиотскую песенку.

– Культура, благосостояние, перемена курса, протекционизм...

– Заведенная машина, – благожелательно сказал я, с ненавистью рассматривая человека-редьку. – Дрянная мельница.

Смутное воспоминание о раздвигаемых стульях, возгласы сожаления – вот и все. Я вышел. В передней мне дали шляпу. Легкий, спокойный воздух ночной улицы кружил голову. Слезы душили меня, не принося облегчения. Арвентур! Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости, Арвентур!

И эхо повторило мой крик отчаяния. Белые птицы, медленно взмахивая крыльями, летели в темноте к морю. – Арвентур! – кричали они. Я не мог двинуться с места; обхватив руками фонарный столб, я плакал от невыразимой тоски. Я боялся думать, страшился оскор-

бить плоским, ограниченным представлением нетленную красоту слова. Одну роскошь позволил я себе: цепь синих холмов, вершины их дымились как жертвенники.

– Там Арвентур! – твердил я.

Круг мысли, очерченный безмолвием, – карманный ночной фонарь, обруч наездника, лужа из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженное мухами, – я бы разбил тебя тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов, отшлифованных в небесах, этого сладкого проклятья и жестокой надежды верить, что Арвентур есть.

Имение Хонса

I

В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, приглашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно приобретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанные благодаря долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями и был по горло занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках; текст его носил отпечаток болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство.

«Проклятье городу! – писал Хонс своим прыгающим тесным почерком. – Я счастлив только теперь; кругом свет. Относительно города: имей он форму стула, я с удовольствием сломал бы его вдребезги. Ты должен приехать. Ты будешь поражен. Я открыл истину спасения мира».

Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. «Истина спасения мира» заставила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на которые чудаковатый Хонс был мастер всегда.

В раздумьи я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев сильно изменила мою наружность: исчезла здоровая полнота, результат пребывания на берегах океана, слинял загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне у Хонса, должно быть, действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал горничной собрать чемодан.

II

Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту, – считаю совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента, когда я увидел Хонса.

Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением, пахло полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородиновое пиво, деревенским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, завсегдатая маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым животом.

– Я счастлив, – сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади, и несколько смущенный торжественностью его голоса, пытался весело засмеяться.

– Пойдем же; Гриль, уберите лошадь и всыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно, ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история.

В Хонсе резко вспыхнула новая для меня черта: он казался подавленным и удрученным, что совершенно и неприятно дисгармонировало с его полной, цветущей внешностью, великолепной бородой и кротким, пронизательным взглядом. Костюм его был оригинален: совершенно белый, он производил впечатление, как будто на Хонса вытряхнули мешок муки. Шляпа, галстук и сапоги были тоже белые.

Мы шли через обширный красивый сад, и, пока Хонс с неестественной для него суетливостью, сбиваясь и путаясь, рассказывал мне действительно слегка подозрительную историю

своего обогащения (перепродал чьи-то паи), я с любопытством осматривался. Чрезвычайно нежные, поэтические тона царствовали вокруг. Бледно-зеленые газоны, окруженные светло-желтыми лентами дорожек, примыкали к плоским цветущим клумбам, сплошь засаженным каждая каким-нибудь одним видом. Преобладали левкой и розовая гвоздика; их узорные, светлые ковры тянулись вокруг нас, заканчиваясь у высокой, хорошо выбеленной каменной ограды маленькими полями нарциссов. Своеобразный подбор растений дышал свежестью и невинностью. Не было ни одного дерева, нежно цветущая земля без малейшего темного пятнышка производила восхитительное впечатление.

– Что ты скажешь? – пробормотал Хонс, заметив мое внимание. – Заметь, что здесь нет ничего темного, так же, как и в моем доме.

– Темного? – спросил я. – Судя по твоим сапогам. Но все-таки, конечно, у тебя есть в доме чернила.

– Цветные, – горделиво произнес Хонс. – Преимущественно бледно-лиловые. Это моя система возрождения человечества.

Моя недоверчивая улыбка пришпорила Хонса. Он сказал:

– Мы войдем... и ты узнаешь... я объясню...

III

Наш разговор оборвался, потому что мы подошли к большому, каменному белому дому. Хонс открыл дверь и, пропуская меня, сказал:

– Я пойду сзади, чтобы ничем не нарушать твоего внимания.

Недоумевающий, слегка растерянный, я поднялся по лестнице. Действительно, все было светлое. Потолки, стены, ковры, оконные рамы – все поражало однообразием бледных красок, напоминавших больничные палаты в солнечный день.

– Иди дальше, – сказал Хонс, когда я остановился у двери первой комнаты.

Невольно я обернулся. В двух шагах от моей спины стоял Хонс и смотрел на меня пристальным взглядом, от которого, не знаю почему, стало жутко. В тот же момент он взял меня под руку.

– Смотри, – сказал Хонс, показывая отделку залы, – необычайная гармония света. Не к чему придираться, а?

Необычайная гармония? Я сомнительно покачал головой. Мне, по крайней мере, она не нравилась. Смертельная бледность мебели и обоев казалась мне эстетическим недомыслием. Я тотчас высказал Хонсу свои соображения по поводу этого. Он снисходительно усмехнулся.

– Знаешь, – произнес он, – пока подают есть, пойдем в кабинет, и я изложу тебе там свои убеждения.

По светлому паркету, через бело-розовый коридор мы прошли в голубой кабинет Хонса. Из любопытства я сунул палец в чернильницу, и палец стал бледно-лиловым. Хонс рассмеялся. Мы уселись.

– Видишь ли, – сказал Хонс, бегая глазами, – порочность человечества зависит условно от цвета и окраски окружающих нас вещей.

– Это твое мнение, – вставил я.

– Да, – торжественно продолжал Хонс, – темные цвета вносят уныние, подозрительность и кровожадность. Светлые – умиротворяют. Благоприятное влияние светлых тонов неопровержимо. На этом я построил свою теорию, тщательно изгоняя из своего обихода все, что напоминает мрак. Сущность моей теории такова:

- 1) Люди должны ходить в светлых одеждах.
- 2) Жить в светлых помещениях.
- 3) Смотреть только на все светлое.

4) Убить ночь.

– Послушай! – сказал я. – Как же убить ночь?

– Освещением, – возразил Хонс. – У меня по крайней мере всю ночь горит электричество.

Так вот: из поколения в поколение взор человека будет встречать одни нежные, светлые краски, и, естественно, что души начнут смягчаться. Пойдем ужинать. Завтра я расскажу тебе о всех моих удачах в этом направлении.

IV

В столовой палевого оттенка мы сели за стол. Прислуживал нам лакей, одетый, как и сам Хонс, во все белое. За ужином Хонс ел мало, но тщательно угощал меня прекрасными деревенскими кушаньями.

– Хонс, – сказал я, – а ты... ты чувствуешь возрождение?

– Безусловно. – Глаза его стали унылыми. – Я чувствую себя чистым душой и телом. Во мне свет.

Я выпил стакан вина.

– Хонс, – сказал я, – мне чертовски хочется спать.

– Пойдем.

Хонс поднялся, я следовал за ним; конечно, он привел меня в светло-сиреневую комнату; я пожелал ему доброй ночи. Кротко мерцая глазами, Хонс вышел и тихо притворил дверь.

Засыпая, я громко хихикал в одеяло.

Затем наступили совершенно невероятные события. Какой-то шум разбудил меня. Я сел на кровати, протирая глаза. Издали доносился топот, крики, металлическое бряцание. Первой моей мыслью было то, что в доме пожар. Полуодетый я выбежал в коридор, пробежал ряд ярко-освещенных, бледно-цветных комнат, в направлении, откуда слышался шум, открыл какую-то дверь и превратился в соляной столб...

Мертвецки пьяный, в одном нижнем белье, Хонс сидел на коленях у полуголой женщины. На полу валялись бутылки, еще две красавицы с растрепанными волосами орали во все горло непристойные песни, размахивая руками и изредка хлопая Хонса по его маленькой лысине. На подоконнике три оборванца с лицами преступных кретинов изображали оркестр. Один дул что есть мочи в железную трубку от холодильника, другой бил кулаком в медный таз, третий, схватив крышку от котла, пытался сломать ее каминной кочергой. Хонс пел:

И-трах-тах-тах, И-трах-тах-тах, У-ы, у-ы, у-ы.

При моем появлении произошло замешательство. Кретины бежали через окно, прыгая, как обезьяны, в кусты. Взбешенный Хонс, схватив кухонный нож, бросился на меня, я быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Тогда за запертой дверью поднялся невероятный содом.

Поспешно удалившись, я стал обдумывать меры, могущие успокоить Хонса. Конечно, прежде всего следовало уничтожить следы Гоморры, но Хонс был в той комнате, с ножом, следовательно...

Постояв с минуту, я прошел к себе, взял револьвер и снова подкрался к двери. К моему удивлению, наступила тишина. Употребив две минуты на то, чтобы вытащить ключ, не брякнув им, я успешно выполнил это и посмотрел в скважину.

Хонс, сраженный вином, лежал на полу и, по-видимому, спал. Женщин не было, вероятно, они, так же как и кретины, удалились через окно. Тогда я вложил ключ, открыл дверь и, осторожно, чтобы не разбудить Хонса, привел все в порядок, выкинув за окно бутылки и музыкальные инструменты.

Затем я легонько встряхнул Хонса. Он не пошевелился. Я удвоил усилия.

– Ну, что? – слабо простонал Хонс, приподымаясь на локте.

Я взял его под мышки и поставил на ноги. Он стоял против меня, покачиваясь, с опухшим, бледным лицом.

– Ты... – начал я, но вдруг свирепая, сумасшедшая ярость исказила его черты: я был свидетелем.

С находчивостью, свойственной многим в подобных же положениях, я мягко улыбнулся и положил руку на его плечо.

– Тебе приснилось, – кротко сказал я. – Галлюцинация. Вспомни преподобных отцов.

– Что приснилось? – подозрительно спросил он.

– Не знаю, что-то, должно быть, страшное.

Он с сомнением осматривал меня. Я сделал невинное лицо. Хонс осмотрелся. Порядок в комнате, видимо, поразил его. Еще мгновение, еще ласковая гримаса с моей стороны, и он уверовал в мое неведение.

– Что же такое страшное могло мне присниться? – с наивной доверчивостью, свойственной многим сумасшедшим, сказал он. – С тех пор, как я живу здесь, сны мои светлы и приятны.

Он громко и стыдливо захохотал, в полной уверенности, что обманул меня. Тогда я вздохнул свободно.

Лужа бородатой свиньи

I

Образ свиньи неистребим в сердце человеческих поколений; время от времени природа, уступая немилосердной потребности народов, наций и рас, производит странные образцы, прихлопывая одним небольшим усилием все радостные представления наши о мыле, зубных щетках и полотенцах.

В мае 1912 года двое любопытных молодых людей стояли у высокого деревянного забора; один из них наклонил голову и, уперев руки в бедра, держал на своих плечах товарища, который, схватившись за край ограды, усаженный гвоздями, смотрел внутрь двора.

В лице нижнего было выражение физического усилия и нескрываемой зависти к стоявшему на его плечах человеку; пошатываясь от тяжести, нижний ежеминутно спрашивал:

– Ну, что? Что там? А? Видно что-нибудь, нет?

Нижнего звали Брюс, а верхнего Тилли.

– Постой, – шепотом сказал Тилли, – молчи, мы сейчас уйдем.

– В тебе пять пудов, если не больше, – ответил Брюс.

– Просто ты слаб, – возразил Тилли, – постой еще две минуты.

Вдруг Тилли наклонил голову и прыгнул; одновременно с этим Брюс услышал за стеной выстрел и хриплый голос, выкрикивающий угрозы.

– Он увидел меня, – вскричал Тилли, – удерем, а то он спустит собаку.

Оба стремглав бросились в переулочек, перескакивая через заросшие крапивой канавы, и остановились на деревенской площади. Тилли сказал:

– Ничего особенного. Мне наговорили про него столько диковинных вещей, что я даже разочарован. Но что это? Неужели мне отстрелили ухо?

Он схватился рукой за мочку, и пальцы его стали красными.

– Пустяки, – сказал Брюс, – ухо лишь оцарапано; вообрази, что была кошка.

– Однако, прыжок этой кошки мог сделать меня мертвой мышью... еще вершок влево, и кончено. Сядем здесь, у ворот, в этой каменной нише, остатке феодальных времен.

– Ты демократ, тогда я на будущих выборах отдам свой голос Бородатой Свинье.

– Свирепая шутка, – сказал Тилли, – нет, подвинься немного, и я расскажу тебе о том, что, стоя на твоих плечах, видел я в Луже Бородатой Свиньи.

II

Ты, мрачный человек с веселыми глазами, здесь гость – и многие сплетни местечка неизвестны тебе. Бородатая Свинья, как его прозвали, иначе Зитор Кассан, веселился тут десять лет и жирел, как сумасшедший, не по дням, а по часам. Он нажил большие деньги на торговле человеческим мясом. Не делай больших глаз, под этим понимается только контора для найма прислуги. Ценой неусыпной бдительности и настоящих коммерческих судорог Зитор Кассан достиг своего идеала жизни. Существование его – бессмысленный танец живота и... тайна, таинственность, обнесенная той самой стеной, возле которой оцарапала меня кошка.

Дом его прозвали «Лужей», а его самого – «Свиньей», еще «Бородатой»; избидели человека в хвост и пятку. Но он сам виноват в этом. Он показывается – правда, редко – на улицах, в самых оцепенелых от грязи покровах и запускает свою растительность. Относительно его души я и заглянул сегодня во двор к Зитору Бородатому, но вижу, что мне много соврали.

Прежде всего, согласно уверениям женщин, я ожидал встретить большой чудесный цветок, среди которого из самых вонючих отбросов разведена лужа симпатичного зеленовато-черного цвета; над ней якобы стаи мух исполняют замысловатый танец, а Бородатая Свинья купается в этой самой жидкости. Но женщины – вообще очаровательные существа – не знают жизни; для такой лужи нужна выдумка и легкая ржавчина анархизма, где же взять это бедной свинье?

Нет, я видел не картину, а фотографию. Зитор Кассан лежал голый до пояса в самом центре огромного солнечного пятна, между собачьей будкой и дверью своего логова. У трех тощих деревьев стоял стол. Высокая, согбенная старуха служанка, с отвисшей нижней губой и медной серьгой в ухе, выносила различные кушанья. От них валил пар; телятина и различные птичьи ножки торчали со всех сторон блюд, а Бородатая Свинья пожирал их, сверкая зубами и белками на кувшинном своем портрете, и после каждой смены ложился на солнцепек, нежно поглаживая живот ладонью; все время он пил и ел и, надо тебе сказать, пообедал за шестерых.

Двор не представлял ничего особенного: он был пуст, – вот все, что можно сказать о нем, безотраден и пуст, как сгнившая яичная скорлупа; в будке, свесив язык, лежала цепная собака да у старых костей под забором скакали вороны. Когда Зитор Кассан кончил шлепать губами, в дверях дома появилась женщина. Это была маленькая, но упитанная особа лет тридцати, с челкой на лбу и выдавшейся нижней челюстью. Она вышла и остановилась, а Зитор, стоя против нее, смотрел на нее, она на него, и так, с минуту, склонив, как быки, головы, смотрели они, не улыбаясь, в упор друг на друга, почесали шеи и разошлись.

– Простая штука, – сказал Брюс, – после этого он выпалил в тебя из револьвера?

– Вот именно. Он заметил, что я смотрю, и сказал громко: «Эй, эй, воры лезут ко мне, слезайте, воришка, а то будет плохо». Затем, без дальнейшего, выпустил пулю. Отомстим Зитору, Брюс.

– Есть. Давай бумагу и карандаш.

– Что ты придумал?

– Разные вещи.

– Посмотрим.

Брюс положил на скамейку листок бумаги и стал, посмеиваясь, писать, а Тилли читал через плечо друга, и оба под конец письма звонко расхохотались.

Было написано:

«Многочисленные тайные силы управляют жизнью животных и человека. Мне, живущему в городке Зурбагане, имеющему внутренние глаза света и треугольник Родоса, открыта твоя судьба. Ты проклят во веки веков землей, солнцем и мыслью Великой Лисицы, обитающей под Деревом Мудрости. Неизбежная твоя гибель ужасает меня. Отныне, лишенный всякого аппетита, сна и покоя, ты будешь сохнуть, подобно гороховому стручку, пожелтеешь и смертью умрешь после двух лун, между утренней и вечерней зарей, в час Второго красного петуха.

Бен-Хаавер-Зюр, прозванный „Великаном и Постоянным“.

– А! – сказал Брюс, перечитывая написанное.

Тилли корчился от душившего его хохота. Повесы, хлопывая друг друга по коленкам, запечатали диковинное послание в конверт и опустили в почтовый ящик.

III

Лето подходило к концу. Вечером, загоняя коров, пастух играл на рожке, и Тилли, прислушиваясь к нехитрому звуку меди, захотел прогуляться. Он взял шляпу, тросточку и прошел в рощу. Он думал о жизни, о боге.

– Ну, смотрите, – сказал он вдруг, – вот еще меланхолик, бродящий, подобно мне, запинаясь о корни.

Неизвестный приблизился; Тилли, рассмотрев его, вздрогнул. Ужасен был вид у встреченного им человека: всклокоченная борода спускалась на грудь, синие, впалые щеки сводило гримасой, глаза блестели дико и жалобно, а руки, торча из ободранных рукавов, напоминали когтистые лапы зверя. Тряпка-шарф болтался на худой шее, неприкрытые волосы тряслись при каждом шаге, тряслась голова, трясясь весь человек.

– Господин Зитор Кассан, – сказал Тилли, не веря глазам, – что с вами?

– А, сынок помещика, – хрипло, облизывая губы, произнес Зитор и уныло рассмеялся, – а что со мной? Что, удивительно?

– Ничего, – сказал Тилли, но подумал: «Он исхудал на пять пудов, это ясно». Вслух он прибавил: – Что вы здесь делаете? Не ищете ли здесь лисицу под Деревом Мудрости?

Он не успел засмеяться и отойти, как Зитор положил обе руки на его плечи, обыскивая лицо Тилли подозрительным взглядом. И такова была сила его внимания, что Тилли не мог пошевелиться.

– Вы знаете, – сказал Зитор, – а что вы знаете? Это мне стоит жизни.

– Успокойтесь. – Тилли побледнел и необдуманно выдал себя. – Это была шутка, – сказал он, – я и Брюс сочинили для развлечения. Пустите меня.

Зитор держал его стальным усилием злобы и не думал отпускать. Пока он молчал, Тилли не знал, что будет дальше.

– Я думал над этим письмом, – сказал, наконец, Зитор. – Поэтому я и умру сегодня, в час красного петуха. Так это вы устроили мне, щенок? Ваше письмо взяло у меня жизнь. Я лишился аппетита, сна и покоя. До этого ел и спал хорошо. Я мало жил. Я много наслаждался едой, сном и женщиной, но этого мало. Я хотел бы еще очень много есть, спать и наслаждаться женщиной.

– В чем же дело? – сказал Тилли. – Вам никто не мешает.

– Нет, – возразил Зитор, – я могу наслаждаться, но ведь я умру. Ведь я думал об этом. Когда я умру, – я не смогу наслаждаться. Я сегодня умру, умру голодный, несытый, не съевший и четверти того, что мог бы скушать. Теперь мне все равно. Дело сделано.

– Охотно извиняюсь, – сказал, струсив, Тилли.

– Меня прозвали Бородатой Свиньей, – продолжал Зитор. – Свинья казнит человека.

Быстрее, чем Тилли успел сообразить в чем дело, Кассан Зитор ударил его по голове толстой дубовой тростью, и молодой человек, пошатнувшись, упал. Он был оглушен. Зитор наклонился над ним и стал что-то делать, а когда выпрямился, Тилли успел забыть о письме к Зитору навсегда.

– Два месяца я худел и думал, думал и худел, – пробормотал Зитор. – Довольно с меня этой пытки. Ах, все пропало! Но я бы охотно съел сейчас пару жареных куриц и колбасу. Все равно, жизнь испорчена.

Он удалился в глубину рощи, и скоро под его тяжестью закрипел сук, а в деревне, невинный и безучастный, запел рыжий петух свое надгробное Бородатой Свинье слово:

– Ку-ка-реку!